

ISSN 0869-3129



КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

6. 2021



18.11.2021. Мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения первого Президента КБР Валерия Мухамедовича Кокова.

К памятнику, расположенному в Нальчике перед зданием аграрного университета, носящего имя В. М. Кокова, торжественно возложили цветы. Почтить его память приехал полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков и другие. В Колонном зале Дома правительства была развернута выставка фотографий, посвященная В. М. Кокову. На площади перед дворцом культуры селения Дыгулыбгей городского округа Баксан открыт памятник Валерию Мухамедовичу.

В церемонии приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены парламента и правительства КБР, представители местной администрации, учреждений, организаций, общественных и молодежных объединений, руководители районов и городов КБР, родные и близкие В. М. Кокова.

12+



Литературно-художественный
и общественно-политический журнал

Учредители
(соучредители):

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«КБР-МЕДИА»

И. о. главного редактора – В. М. МАМИШЕВ

Редакционная коллегия:

Светлана Алхасова
Руслан Ацканов
Муталип Бепшаев
Адам Гутов
Виктор Котляров
Лариса Маремкулова
Светлана Мотгаева
Александр Мусукаев
Александр Пряжников
Юрий Тхагазитов
Андрей Хакуашев
Мухамед Хафицэ

Общественный совет:

Борис Зумакулов
(председатель совета)
Касбулат Дзамихов
Мурат Карданов
Замир Мисроков
Пшикан Семенов
Хаути Сохроков
Пшикан Таов
Аминат Уянаева
Феликс Хараев
Башир Хубиев
Сафарби Шхагапсоев

6. 2021 НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ

НАМ – ТРИДЦАТЬ

Этот номер «Литературной Кабардино-Балкарии» приурочен к 30-летию журнала, и, понятное дело, такая дата требует взгляда назад, подведения каких-то итогов. Тридцать лет – достаточный срок даже в обычных условиях – условиях спокойного развития социума, экономики, государства в целом. Однако для жителей России и Кабардино-Балкарии это время оказалось временем неординарных и кардинальных смен ситуации, ломки политических и ментальных ориентиров. Мы пережили распад великой страны – нашей Родины – появление и становление нового государства, революцию, или переворот – кто как оценивает – годы нищеты и упадка... Что говорить: среднестатистическим жителем современной Европы даже деноминация национальной валюты ощущается как социальная катастрофа, тем более, ему трудно представить, что эта самая валюта может просто исчезнуть – исчезнуть буквально. А ведь у нас она пропадала – по крайней мере, на долгие месяцы для целых категорий работников.

Может ли культурное пространство страны развиваться, невзирая на социальные и экономические штормы, эту самую страну сотрясающие? Может ли великая русская литература сохранить свой статус, более того – реально ли её функционирование на национальной периферии в качестве эстетически значимого феномена? Эти вопросы, по всей видимости, не имеют обоснованного теоретического ответа, не могут быть просчитаны и гипотезированы на высоком уровне достоверности.

Однако сама история литературного контекста КБР дала достаточно ясную картину эволюционных тенденций художественного слова республики, и волею судеб случилось так, что постоянным свидетелем и хранителем перипетий культурной жизни нашей малой родины стал журнал «Литературная Кабардино-Балкария». Свидетелем – как в рамках самых пафосных деклараций, так и в сухих статистических отчётах, отражающих редакторские постраничные планы публикаций.

Что возможно зачесть в заслуги и недоработки редакции за эти тридцать лет? Как ни странно, одну и ту же – надо сказать, достаточно характерную – черту, которой отмечены все, без исключения, номера «ЛКБ», подписанные «в свет» с 1991 года. При постоянном, очевидно высоком, уровне требований к художественному качеству публикуемых текстов, при чётко проявленном интересе к новационным стилевым и тенденциальным колебаниям литературного контекста республики, региона и всей страны, «Литературная Кабардино-Балкария» на протяжении всего этого периода придерживалась приблизительно единой идеологической и эстетической стратегии,

удерживая позиции, которые условно можно назвать умеренно консервативными.

Что это дало нашему читателю? Да, мы не сфокусировали его внимание на таких, остроумных в своё время, направлениях, течениях и школах, как метаметафоризм, примитивизм, неонеореализм, готический и неореалистический супрематизм, постреализм, концептуализм и ещё целое созвездие «измов», занимавших умы альтернативной критики 90-х и нулевых. Однако следует отметить, что заведомо эпатажные формы самовыражения литературных «диссидентов», на самом деле, никоим образом не определяли литературную ситуацию Кабардино-Балкарии. У нас не было настоящих системных поклонников ленинградских рок-групп с нецензурными названиями, наши единственные представители музыкального андеграунда – действительно перспективная компания «Параноид» – не снискав местных лавров, мигрировала в мегаполисы, единственный жёстко постмодернистский текст – роман К. Елевтерова «Вынырывающий» – проигнорировали и читатели, и специалисты.

Необходимо понимать, что ощущаемая и направленная селективность публикаций не была следствием вкусовых предпочтений руководства журнала. Напомним, что в самое смутное время эстетических и философско-идеологических штормов главным редактором «Литературной Кабардино-Балкарии» был Э. Мальбахов, что само по себе служит гарантией эстетического универсализма при отборе произведений. Эльберда всегда отличала периферийная широта взглядов, небывалая тонкость и глубина оценки текстов. И можно с полной уверенностью утверждать, что основным параметром допуска к читателю, было всё-таки соответствие произведений общественному запросу – некой трудноуловимой субстанции, трудноуловимой, но всегда очень резко реагирующей на нарушение её негласных норм и стандартов. Если журналу и было присуще тяготение к хрестоматийной ясности слога, идеи, к привычному инструментарию выразительности – то только ввиду ожиданий нашего читателя, его подавляющего большинства.

Уход на пенсию первого главного редактора «ЛКБ» не изменил генеральной линии публикационной политики «Литературной Кабардино-Балкарии». Но Хасан Тхазеплов, сменивший Эльберда Мальбахова, столкнулся с новыми условиями внелитературного, внеэстетического характера, влиявшими на сам процесс функционирования издания. Изысканный литературно-художественный отбор материала номеров попросту не обеспечивал необходимых показателей подписки на журнал, уже к концу 90-х – началу нулевых стало окончательно ясно, что подход к содержанию издания придётся менять. Эта реформа была сделана, она не прошла незамеченной и

даже вызывала критику у ратовавших за рафинированное литературно-художественное наполнение страниц «ЛКБ». И, тем не менее – расширение тематического и жанрового спектра было вынужденным ответом на оформившиеся вызовы окружающего, экономической и социальной реальности республики.

Что было первопричиной снижения интереса к печатным изданиям – вопрос социологов, футурологов и иже с ними, но необходимость расширения потенциальной читательской базы журнала в начале нового тысячелетия стала очевидным фактом и условием его существования в прямом смысле этого слова. Более того, при Хасане Тхазеплове – человеке с чётко выраженным тяготением к традиционным, можно даже сказать, патриархальным ценностям – расширились границы списка приемлемых для журнала творческих направлений и течений. Новый главный редактор вынужденно, или в силу своей творческой чуткости, остро осознавал как дефицит внимания к журналу в его «классическом» формате, так и резкое сужение пространства выбора перспективных текстов.

Межпоколенный разрыв, наметившийся уже в 90-х годах прошлого века, в начале нулевых приобрёл свой критический запредельный вид. Это было особенно заметно в оглавлениях национальных «Ошхамахо» и «Минги-Тау», но представляло не меньшую проблему и в русскоязычной «Литературной Кабардино-Балкарии». Журналам попросту не хватало новых произведений – подходившие под обычные нормы оценки тексты авторов, становление которых пришлось на конец 60-х – 70-е годы прошлого века, были уже многократно апробированы в изданиях республики, а более молодые поколения прозаиков и поэтов ещё не были «легитимизированы» в качестве признанных профессионалов.

Это направление и явилось одним из основных векторов деятельности «ЛКБ» под руководством Хасана Тхазеплова. Именно благодаря ему в литературном пространстве республики получили постоянную прописку сразу несколько русскоязычных авторов – появились, нарушив вынужденную монополию профессионалов современного формата, чей реестр ограничивался, фактически, А. Кайдановым и Г. Яропольским. Главный редактор изменил качество восприятия целой группы литераторов, до этого числившихся в перспективных художниках, творивших в режиме многообещающего будущего и, увы – зачастую в стол. «Литературная Кабардино-Балкария» стала той платформой, с которой началось регулярное и систематическое представление литературному миру КБР целой плеяды тех литераторов, которых сегодня можно назвать ближайшим к сегодняшнему дню сформировавшимся поколением. Многие из них не сильно отличались по возрасту от того же Яропольского, но речь, в данном

случае, идёт о переводе авторов из области андеграунда и околотературной «тусовки» в признаваемое литературным явлением общество.

Этот процесс – во многом вынужденный – помимо всего прочего, означал и изменение критериев оценки литературных произведений, повышения мобильности границы между текстуальным экспериментом и, непосредственно, художественным текстом. Без излишнего пафоса можно констатировать – «Литературная Кабардино-Балкария» под руководством Тхазеплова оказалась готовой к подобной смене издательской стратегии – типологический спектр содержания журнала значительно расширился де факто, главный редактор оставил лишь один этико-философский критерий допуска текстов к читателю – соответствие институирующей идеи произведения и его выразительного антуража общечеловеческим стандартам гуманизма и прекрасного.

Что видится особо значимым – естественная актуализация требований к текстам в виде этнически обозначенных параметров эстетического. На практике это означало предпочтение, опять-таки, проверенных временем и поколениями канонов нравственности. Поэтому за более чем полтора десятка лет руководства Х. Тхазеплова читатели видели на страницах журнала практически все формы современного литературного выражения, за исключением того, что главный редактор идентифицировал как откровенный трэш, неантизм, эротику и схожие суррогатные декларации. В этом он был предельно жёсток, в категоричной форме отказывая даже известным и влиятельным авторам. Хотя именно при Хасане Миседовиче «Литературная Кабардино-Балкария» начала публиковать образцы прозы и поэзии, весьма далёкие от привычного контента журнала – от концептуалистских «скелетных» строк, подобных текстам З. Теуважукова, до откровенной прозаической психоделики А. Макоева.

Очень многое Тхазеплов сделал в смысле оптимизации издательского функционирования журнала. Версификация тематического ордера «ЛКБ», привлечение и публикация материалов очеркового плана, даже поднимающих проблемы производственного, сельскохозяйственного характера вызывали и критику в адрес главного редактора, и недовольство им со стороны приверженцев литературного «пуризма», но нет никаких сомнений – именно подобные, мультивекторальные выходы за пределы классического для редакции круга интересов, помогли журналу благополучно пережить годы катастрофического падения тиражей «бумажных» изданий. Комплексное, мобильное понимание места и роли «Литературной Кабардино-Балкарии» в культурной и общественной жизни республики инициировало и такие шаги Тхазеплова, как создание при редакции «ЛКБ»

коллегии переводчиков, обращение к новым регулярным источникам публикуемых текстов, налаживание контактов с аналогичными изданиями региона...

Увы, этим планам не было суждено сбыться – во всяком случае, при жизни Хасана Тхазеплова. Он ушёл из жизни совершенно неожиданно, в состоянии высокой, можно сказать – пиковой – творческой и организаторской активности. Начав коррекцию политики «Литературной Кабардино-Балкарии», адаптацию журнала к ошущавшимся им грядущим переменам, Тхазеплов во многом предопределил готовность к тому, что стало абсолютно очевидным уже после его смерти.

К сожалению, в последние год-полтора – прежде всего, в связи с пандемией и резким уменьшением количества текстов наших заслуженных деятелей литературы – объём русскоязычных и переводных художественных текстов резко сократился. Даже невооружённым глазом, даже для неспециалистов понятно, что вектор эффективного функционирования издательской деятельности должен быть изменён. И речь идёт уже не об оптимальной адаптации издания к быстрым изменениям среды и реалиям окружающего мира. Разговор следует вести о перспективах литературного творчества как такового, как социально и культурно значимого явления. Лишь один факт: за годы, прошедшие между предпоследним съездом Союза писателей КБР и прошлым подобным форумом – буквально несколько дней назад – республика потеряла тридцать одного литератора. Это небывалый и, без преувеличения, фатальный показатель.

Приток кадров в национальные секции Союза пренебрежимо мал, он не может, даже теоретически, переломить ситуацию. Немногим лучше обстоят дела в русскоязычном секторе. И сейчас, перешагнув тридцатилетний рубеж со дня своего возникновения, журнал «Литературная Кабардино-Балкария» вновь вынужден обратиться к культурному инжинирингу – естественно, в доступных ему масштабах. Сегодня редакция видит свою главную цель, прежде всего, в поиске новых имён. Особо отметим – «новых» не всегда значит «молодых». Возвращение и популяризация тех, кто по разным причинам оказался за пределами внимания специалистов и массового читателя – это тоже поиск новых авторов. Поэтому мы можем занести в свой актив сразу несколько публикаций последнего времени – стихи В. Школьного и З. Теуважукова, чьё признание ещё впереди, и М. Беляковой, трагизм и тонкость ощущений которой напрямую ведут нас к лучшим строкам русской женской поэзии. Здесь же – изощрённость и элитарная семантическая насыщенность прозы К. Елевтерова, интереснейшие этнофантазии А. Бакиева – убедительные даже на сензитивном уровне.

Особая точка приложения сил редакции «ЛКБ» – скрупулёзная и систематическая селективная деятельность по выявлению и пропаганде реальной смены творческой интеллигенции, работа «на будущее». Здесь нам пока что особо гордиться нечем – разве что неожиданное открытие вполне сложившейся поэтессы из Прохладного А. Гиренко. Но у редакции есть оправдание – мы только начали деятельность в этом направлении. Мы не рассчитываем на случайные – пусть и радостные – находки. Журнал будет на систематической основе сотрудничать с авторами действительно молодыми, идя даже на превентивные, поощрительные публикации поэтов, прозаиков, критиков и литературоведов, не обделённых даром свыше и перспективных хотя бы условно. Сложившаяся на сегодняшний день ситуация в литературном сообществе КБР требует такого, только такого подхода.

И, конечно, редакция журнала не видит повода изменять главному – приверженности традиционным и общечеловеческим нормам восприятия и оценки бытия. Нам – тридцать лет. Это не тот возраст, в котором можно предать забвению стержневую, базовую стратегию издания на протяжении всей истории его существования. И не тот, в котором можно заикнуться на узком круге форм, стилей, техник. Мы надеемся и далее находить силы и возможности для пропаганды и продвижения писателей Кабардино-Балкарии, надеемся создать механизмы их популяризации на региональном и федеральном уровнях. В планах редакции – создание при «ЛКБ» литобъединения, организация занятий с молодёжью, активный обмен опытом и текстами с изданиями Северного Кавказа и всей России. Надеемся, что шаги в этом направлении будут поддержаны как нашими читателями, так и руководством учредителей.



ПЕРВЫЙ ГЛАВНЫЙ



М. Эльберд

– собкором агентства ТАСС, с 1979-го по 1984 год – собкором газеты «Известия» по Омской области.

С 1990 года Э. Мальбахов был литературным консультантом Кабардино-Балкарской писательской организации. В 1991 году он стал первым главным редактором русскоязычного журнала «Литературная Кабардино-Балкария», где трудился до выхода на пенсию в 2000 году. Эльберд Тимборович сумел сделать это периодическое издание популярным в среде многонациональной интеллигенции нашей республики.

Эльберду принадлежат переводы второй книги романа Х. Теунова «Подари красоту души», третьей книги тетралогии А. Шортанова «Горцы», повести Х. Хавпачева «Дорога», романа А. Тепеева «Мост Сират». Большая дружба связывала Эльберда с балкарским писателем Эльдаром Гуртуевым. В его переводе на русский язык вышел сборник рассказов и повестей Э. Гуртуева «Похвала добродетели».

Очерки, статьи и эссе Эльберд посвятил А. Кешокову, К. Кулиеву, К. Отарову, А. Шогенцукову, И. Боташеву, З. Тхагазитову, Т. Зумакуловой, А. Шортанову и другим собратям по перу.

Эльберд Тимборович был награждён медалью «За доблестный труд» (1970), Почётной грамотой Президиума Верховного Совета КБАССР (1989). В 2000 году ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры КБР».

Кайсын Кулиев, народный поэт КБАССР:

О долгом и трудном пути родного народа, полного драматизма, бедствий и надежд, написан первый роман Эльберда Мальбахова «Страшен путь на Ошхамахо».

Прямо скажем, молодой писатель-кабардинец, пишущий на русском языке, отважился на трудное и сложное дело – рассказать о временах далеких, изобразить людей, живших и делавших свое дело несколько веков назад.

Мне думается, никто не может оспаривать права писателей на исторические темы, тем более авторов младописьменных литератур, ибо наши народы в прошлом не имели письменности и не смогли изобразить жизнь тружеников и героев отдаленных эпох в романах, повестях, рассказах. Автору удалось вылепить живые образы наших предков, живших столетия назад, он сумел ощутить воздух того далекого от нас времени. А это уже большая художественная удача.

Произведение написано с большим уважением и любовью к родной Кабардино-Балкарии, к ее народам, к их истории.

Юрий Тхагазитов, заслуженный деятель науки КБР:

Роман «Страшен путь на Ошхамахо» построен М. Эльбердом на внутренней полемике с привычным уже в адыгских литературах историческим жанром, где авторы (чаще бессознательно) тяготеют к этнографизму, к идеализации изображаемой действительности. Они находятся в плену «абсолютного прошлого», как сказал бы М. Бахтин. И в этом нет ничего удивительного. Такова закономерность развития прозы, основой которой является фольклор, героический эпос. М. Эльберду удаётся нарушить эту, пока ещё трудно преодолимую для адыгской прозы ценностно-временную ситуацию, весьма своеобразно. В романский хронотоп писателем органично включены фольклорные герои, жившие в разное время. Нельзя отказать такой задаче в смелости. Ведь тем самым преодолевается фольклорное клише, когда типизация шла на уровне, предполагающем трактовки фольклорного идеала как извечной данности. Идеал наполняется реальным конкретно-историческим содержанием.

Светлана Моттаева, заслуженный работник культуры КБР:

В 70-е годы Э. Мальбахов короткое время работал редактором общественно-политических передач нальчикской студии телевидения, где мне и довелось общаться с ним как с коллегой.

Литературный талант Эльберда Мальбахова пробудился достаточно рано. Наряду с профессиональной журналистской деятельностью он пробует себя в прозе. Его первые рассказы, переводы произведений кабардинских и балкарских писателей стали выходить ещё в начале 60-х годов. Дебют молодого писателя состоялся в 1963 году.

Эльберд Тимборович трудился на ниве литературы, что называется, засучив рукава. Из-под его пера последовательно выходят сборники

документальной прозы «Наш дом – Кабардино-Балкария» (1971), «Набирая высоту» (1972), рассказы «Воспоминания охотничьей собаки» (1973) и главные книги его литературной судьбы – романы «Страшен путь на Ошхамахо» (1980) и «Ищи, где не прятал».

Эльберд не только пылкий писатель, увлечённый «раскопками» истории и судьбы предков-адыгов. Он тонкий психолог и рассказчик, искрящийся юмором, не оставляющим равнодушным читателя.

Эльберд, безусловный бесребреник и альтруист, всегда был погружён в творчество, и только работа давала ему силы для воплощения художественных замыслов, которые он с годами блестяще реализовал.

Гуманист, человеколюб с удивительно тонкой душевной конституцией, Эльберд готов был «и целый мир на битву звать», становясь воинствующим литератором, когда дело касалось мира фауны. Что-то пронзительно чеховское роднит его «Воспоминания охотничьей собаки» с «Каштанкой». Идея всего: природа нуждается в нашей защите не меньше, чем жизнь человека.

Две линии судьбы наиболее чётко отпечатались на ладони Эльберда Мальбахова – линия сердца и линия родины. Его сердце вобрало в себя ощущение родной земли. Ей он отдал свой талант гражданина и писателя.

Анатолий Емузов, доктор филологических наук, профессор, дипломатический советник первого класса:

Мы с Эльбердом принадлежим к тому поколению людей, чьё детство было обожжено пожаром войны. Наша дружба зародилась в тяжёлые послевоенные годы, она испытана временем, лишена меркантильности, а потому была нерушима. Мы росли в Нальчике на улице Кабардинской, оба учились во второй школе, вместе занимались лёгкой атлетикой, дружили семьями. Вместе отмечали государственные и семейные праздники, делили хлеб-соль, горести и радости. Когда не стало наших спутниц жизни, мы оставались верными друзьями.

Эльберд был великолепным, любознательным собеседником, очень начитанным, разносторонне эрудированным, как и подобает большому писателю – инженеру человеческих душ. Ум, доброта, обаяние, величайшая порядочность, бескорыстие гармонично сочетались в нём. Он был чрезвычайно скромным человеком – в жизни, в быту, в общении. Он никогда не кичился ни своей популярностью, ни высоким положением отца. Простой, общительный, благожелательный: это было унаследовано от отца Тимборы Кубатиевича и матери Нины Степановны. Общеизвестно, что они не баловали детей. Тимбора Кубатиевич оставил детям лишь источник знаний – большую домашнюю библиотеку, хотя, будучи руководителем Кабардино-Балкарии, на про-

тяжении тридцати лет обладал в республике практически неограниченными возможностями. Эльберд Тимборович, если бы судьба сложилась иначе, мог стать художником. Это подтвердит каждый, кто видел его картины. Они могли бы украсить любую художественную выставку, но он никогда их не выставлял, раздаривая друзьям-приятелям.

Залина Мизова, кандидат филологических наук:

Творчество Э. Т. Мальбахова – интереснейшая страница истории кабардинской и всей северокавказской литературы, и оно ещё ждёт своих исследователей.

Двуязычие автора автоматически заложило в сознании Мальбахова определённые черты – прежде всего, амбивалентность восприятия явлений и феноменов, способность к их разнонаправленному осмыслению. Огромная эрудиция, фактическое двуязычие и бикультурность, доступ к информации, закрытой для большинства, и несомненный талант – вот составляющие Мальбахова-литератора.

Он жил и работал в эпоху перманентного идеологического пресинга, эпоху господства не вполне корректных эстетических доктрин.

Мальбахов, будучи, с одной стороны, принципиальным сторонником идей социалистического общежития и исторических концепций, господствовавших в советской науке тех лет, с другой стороны, чётко осознавая свою принадлежность к адыгам, был горд этой своей принадлежностью и делом всей своей жизни считал пропаганду этничности вкупе с симбиотическим вхождением и жизнью кабардинцев в системе российской государственности.

И, быть может, главная заслуга Мальбахова, как писателя и гражданина, состоит в том, что в смутное время роста ксенофобии и центробежных тенденций, едва не приведших к трагическому для государства и его народов финалу, кабардинский прозаик нашел в романе «Ищи, где не прятал» художественно достоверную форму синтеза идеологии большого государства и малочисленного народа, попытался – как это уже было им сделано за десятилетие до этого в романе «Страшен путь на Ошхамах», – выстроить перспективную модель морально-нравственных оснований подобного союза, продемонстрировать жизнеспособность и значимость традиционных этнических морально-этических комплексов адыгов именно в рамках политически и перспективно целесообразного взаимодействия с Россией.

Ольга Мальбахова:

Человека можно узнать по его отношению к другим людям, по тому, как он ведет себя с теми, кто ничем ему не может быть полезен. Мой отец никогда не смотрел на должность или общественное положение тех, кого выбирал в друзья, кстати, в отличие от некоторых других,

для кого он был первым делом сыном первого секретаря обкома, а потом уж отдельной личностью. Уж сколько «липло» к нему лжедрузей в годы, когда его отец занимал высокую должность, уж сколько «отвалилось» потом, за ненадобностью... Удивительная способность папы не помнить зла – и раздражала, и восхищала. Папа был слишком добр, слишком открыт, слишком доверчив – да конца дней он верил в дружбу, ни об одном человеке не говорил плохо. Но я бы не сказала, что мой отец был инфантилен, он мог охарактеризовать любую человеческую натуру, рассказать, что движет людьми, их страсти и пороки – все это делалось с философской точки зрения, беззлобно и безотносительно.

Мой папа дня не мог прожить без книги. Особенно, когда ушел на пенсию – практически все свободное время он проводил за чтением книг: мировая классика, архивы, словари... он любил читать разное. Папа был человеком-энциклопедией... Однажды я спросила его: «А тебя не смущает, что ты, прожив столько лет, находишься в малюсенькой хрущёвке, со скромным ремонтом, в непрестижном районе...?» Папа ответил: «Да, в общем-то, меня устраивает моя квартира». Тогда я спросила так: «Ну, ведь ты бы хотел, например... шикарную яхту?» Папа подумал и сказал: «Хотел бы...» – «Вот, что бы ты делал, если бы у тебя была яхта?» – спросила я. Папа сказал: «Спустился бы в каюту, лег на диванчик и читал бы хорошую книгу...» – «Ты и так лежишь на диванчике с книгой!» – «Ну да, поэтому какая разница – есть у меня яхта или нет?» Такой он был, мой отец. А еще он обладал прекрасным чувством юмора. Ничто так не выдает человека, как то, над чем он смеётся. Папа мог посмеяться над самим собой так, что все окружающие смеялись до слез, а если шутил над другими – делал это деликатно и необидно. Ко всему прочему, он был совершенно лишён зависти и меркантильного отношения к жизни. Наверное, поэтому и все его книги пронизаны светлым чувством, любовью к людям, всему живому.



СТРАШЕН ПУТЬ НА ОШХАМАХО

Главы из романа

В междуречье Баксана и Чегема весна – гостя ранняя и весёлая.

С южных покатоостей плавной холмистой гряды, что тянется от Кабардинской равнины до балкарских ущелий, снег сходит прямо на глазах. И не успевают мутные ручейки талой воды сбежать со склонов вниз, как на солнечных пригревах начинают проклёвываться упрямые побеги сочной травы. Ещё не успеет подсохнуть земля, а лесистые пространства предгорий покрываются лёгкой полупрозрачной кисеей свежей зелени. Сразу же после равноденствия наряжаются в белорозовые свадебные платья ветви диких яблонь и груш, алычи и боярышника.

Чистым и радостным, молодым и невинным кажется мир, когда ранним весенним утром смотришь на него с округлой вершины горы Махогерсых. И всего довольно в этом мире: вот бесконечные кущи лесов, состоящие из дуба и чинары, ореха и кизила – плодов полным-полно, хватит и человеку, и птице, и зверю; вот широкие открытые склоны плоскогорий – к лету здесь поднимается лошади по брюхо буйное разнотравье – нет лучших угодий для всякой жвачной живности; вот многочисленные родники, речки, мощные горные потоки – хватит, чтобы напоить половину человечества и ещё с половины смыть грязь; вот земля, способная родить столько хлеба, чтобы никого не оставлять голодным; вот солнце, которое светит с одинаковой силой каждому одушевлённому существу...

Сюда, на пологие склоны Махогерсыха, испещрённые множеством тропинок, каждую весну, в месяц бараньего мора, приходили крестьяне из разных селений. Многие добирались издалека, с самых окраин Кабарды. Одни ехали на арбах целыми семьями, другие верхом, а большинство применяло самое простое и надёжное средство передвижения – собственные ноги.

Махогерсых – гора, поросшая с одного бока лесом, а с другого только травой, – была святым местом. Здесь наши предки издавна воспевали и задабривали своих богов, вымаливая для себя удачи и благополучия. А боги – грубые деревянные изваяния, установленные на деревянных же, высотой с человеческий рост, столбиках, молча внимали горячим просьбам и выполняли их нечасто и как-то невпопад. Случалось, они обрушивали свои милости на человека, который не слишком и заботился о собственном благосостоянии, а порой отнимали и без того слишком тощий ээрчет у добросовестного бедняги, который больше всех жертвовал богам: уделял им часть скудных семейных припасов, развешивал

шкуры животных на деревьях, лил на землю махсыму. И тогда бедняга задумывался: может, он обделил вниманием кого-то из богов? Ведь богов много, а они, как известно, обидчивы и ревнивы. Нелегко угодить всем вместе и каждому в отдельности.

Главный бог – это Тхашхо, великий бог неба. Но ведь ещё есть Псатха – бог жизни. Пожалуй, он считает себя главнее. С другой стороны – это знает любой ребёнок – если бог грома Шибла рассвирепеет, то и Тхашхо с испугом ищет себе на небе местечко, где бы спрятаться!

Нельзя пренебрегать и такими важными тха, как Созереш – бог домашнего очага и болезней, Тхагаледж – бог плодородия, Зекуатха – покровитель путников и воинов, находящихся в походе. А можно ли забыть божественных княгинь: Хадэгуашу – покровительницу садов – и Псыхогуашу – хозяйку рек и властительницу дождей! А попробуй – о, горе! – не ублажить бога мелкого скота Амышша и бога крупного скота Ахына, чьим именем называется даже море Чёрное!

Есть и другие боги, но один из них – особенный. Это – Мазитха, который ездит верхом на огромной дикой свинье с золотой щетиной. Огненноусого Мазитху, бога лесов и охоты, почитают ещё и за то, что он покровительствует бесплодным женщинам, и только он может помочь их горю.

В эту весну в междуречье пришло гораздо меньше народу, чем в былые годы. А ведь когда-то, вспоминали старики, людей на Махогерсыхе бывало так много, что опоздавшим приходилось по нескольку дней ждать очереди, пока помолются и принесут свои жертвы одни, потом другие, затем третьи...

Теперь на пологой поляне у вершины горы без труда разместились все паломники. Горело всего три десятка костров и закипала вода всего в тридцати котлах. Первые шкуры коз и овей, натянутые на распялки, уже висели на высоких шестах или ветвях ближайших деревьев. Кое-что из внутренностей забитых животных закапывали в землю и поливали тёплой кровью.

Громко и поначалу нестройно звучала музыка. Пронзительно и высоко взлетела к небу песня свирели, глуховато, но мелодично зазвенели струны, сухо и отчётливо рассыпался по Склону дробный перестук деревянных, окантованных медью, трещоток, отбивающих танцевальный ритм. Этот танец в честь бога жизни исполнялся только супружескими парами. Каждая танцующая пара по очереди приближалась к деревянному Псатхе, кланялась и отходила в сторону. Танец назывался «тха великому» – «сандрак».

Некоторые женщины исполняли сандрак с обнажённой грудью, что

¹Апрель.

²Изобилие.

должно было свидетельствовать об их особой твёрдости в вере и сердечной преданности великому тха.

Музыка не смолкала с утра и до полудня. Песнопения, обращённые к разным богам, звучали с небольшими перерывами одно за другим.

Часть мужчин и женщин потянулась и лес, развешивая на деревьях подарки Мазитхе, – тут были старые, покривившиеся от времени стрелы, ржавые наконечники от копий, треснутый стальной шишак, изношенная одежда, разная домашняя утварь – ничего не жалко для любимого бога.

Кто-то затянул, а остальные подхватили старинную песню:

*Уо-о-о, Мазитха, бог лесов –
Это твоё звание!
Лишь твоё, тха, звание!
Страшен вид твоих усов
Красноламенных,
Жгучих, пламенных.
Кроны вековых дубов
Ты к земле склоняешь,
Как траву, склоняешь.
Грозной поступью шагов
Горы содрогаешь,
Скалы сотрясаешь.
Ложка твоего покров –
Шкуры склонов столетних.
Твои стрелы – из стволов
Старых деревьев крепких,
Кизиловых, крепких.
В честь тебя дымится кровь,
Напиток богоугодный,
Тха, тебе угодный!
Мы заклали семь козлов
С шерстью снегоподобной,
С белой, снегу подобной.
Дорогих твоих даров
Бесплодные жены просят,
Чрева наполнить просят.
Сребротелый, бог из богов,
Ты знаешь, под сердцем что носят,
Витязей будущих носят.*

Когда поклонники Мазитхи вышли из лесу к голой вершине Махогерсыха, они увидели человека верхом на коне, который что-то сердито

кричал и, кажется, вовсе не собирался молиться, танцевать сандрак или приносить жертвы. Да и потом – где это слыхано, чтобы к самому Псатхе подъезжать верхом?!

Толпа людей, внимавших нежданному всаднику, была слегка растеряна.

– И не стыдно вам, адыги, поклоняться деревянным чуркам! – кричал, приподнимаясь на стременах, сердитый пришелец. – Ведь сколько раз объясняли вам, что нет бога, кроме аллаха, а Магомет – это его пророк, которого тоже надо чтить! Аллах, только аллах – истинный и единственный бог! Вы что, хотите остаться дикими язычниками? Почему не желаете идти за великими народами – за Турцией, например, и другими странами, которые указывают правильный путь? Не раз пожалуют неверные о том, что они не захотели стать мусульманами, – так сказано в священной книге Коране. Вам, идолопоклонникам, кумиротроителям, гореть после смерти в аду, если вовремя не одумаетесь! – Пришелец перевёл дыхание, вытер пену со своих тонких синеватых губ и с новой силой обрушился на толпу: – Забудьте своих смешных божков, они не годятся даже для детских сказок.

Вперёд выступил бедно одетый старик с жиденькой седой бородой на сморщенном лице.

– Подожди, сынок, – надтреснутым, но звучным голосом сказал он. – Ты очень спешишь, наверное, потому и не спешился, когда начал говорить с людьми.

– Я не спешился, чтобы меня все видели, – незванный гость слегка смутился.

– Хорошо, хорошо, – успокоил его старик. – Так мы тебя, и в самом деле, лучше видим и слышим. Так вот, что я хотел спросить у тебя, сидящего на коне: человек имеет соль, да ещё сыр, да ещё мясо, а потом ему предлагают какой-то новый, совсем не известный припас – пусть даже очень хороший, но разве должен этот человек отказаться от всего, что имел до этого? Мы не против твоего аллаха и готовы почитать нов...

– Остановись! Ни слова больше! – гневно перебил старика беспокойный гость. – Сравнивать Истинного и Всемогущего с какими-то съестными припасами! С овечьим сыром! О, аллах, велико твоё долготерпение! Только мои по-детски простодушные соплеменники могли додуматься до такой ереси!

В толпе, в которой при первых словах неожиданного проповедника начал было подниматься негодующий ропот, теперь послышались смешки (ха, овечий сыр!). Люди заметили и то, с каким искренним огорчением встретил пришелец наивные слова старика, и хоть небезобидны были речи мусульманина, но что-то в них было и чуточку забавного.

– Вы должны меня слушать, – продолжал мусульманин. – Рань-

ше я был простым тлхукотлем. Аллах помог мне перейти в сословие уорк-шаотлыхус. Но я ещё стану муллою и буду тогда вне всяких званий. Даже князья не погнушаются сидеть со мной за одним столом! Я и теперь уже – еджаг, почти мулла: духовники из Крыма разьяснили мне смысл священного учения. Адильджери моё имя. Я состою в свите самого Кургоко Хатажукова и знакомлю его уорков и простых дружинников с премудростями ислама.

Всадник был неплохо одет – чёрная черкеска с газырями, войлочная высокая шапка с меховой опушкой понизу, на ногах – сафьяновые тляхстены, правда, сильно поношенные. Кинжал и сабля – добротные, но скромной отделки. Лицо тридцатилетнего мужчины с тонким прямым носом, рыжеватыми бровями и усами бывало, наверное, и приятным, но сейчас его портило злое выражение светлокарих презрительно сощуренных глаз.

Вперёд вышел коренастый средних лет человек, державший в руке требуху только что разделанного барана.

– Однако я не понимаю, – прогремел он густым и сильным басом, – почему я должен выгонять из дому своих гостей, когда ко мне во двор въезжает новый гость?

В толпе раздалась одобрительные возгласы.

– Ты мне тут адыге хабзе не припутывай! – И без того полнокровное лицо Адильджери стало ещё краснее. – Аллах – к нему в гости! Да как ты язык свой не проглотил, богохульник!

– Никогда меня не называли богохульником, – с печальным достоинством ответил мужчина, задавший вопрос ретивому проповеднику, – и не знаю, чем я заслужил такие грубые слова, даже если они и сказаны человеком, который вдруг стал называться уорк-шао.

– Ты, ты... – задохнулся правоверный Адильджери. – С кем ты говоришь?!

– Не надо бы так, Адильджери! – послышался голос из середины толпы, и к всаднику приблизился пожилой тощий крестьянин. – Ты бы лучше по-хорошему со всеми... – говоривший очень стеснялся и смотрел куда-то вниз и в сторону.

– Э-э! Да здесь мой дядя! – то ли возмутился, то ли обрадовался мусульманин.

– Ну да, – все так же виновато пряча глаза, ответил крестьянин. – И твоя тётка тоже...

– Ах, и тётка тоже!

– Адильджери, миленький! – одна из женщин осмелилась вмешаться в споры мужчин. – Все мы рады, что ты стал таким большим человеком, но разве нельзя было остаться таким же добрым, как раньше.

– Хабала! – племянник сурово, как если бы он был намного старше, а не моложе, окликнул дядю. – Ты забыл нашу последнюю беседу? Ты,

тётя, пока помолчи. Ты забыл, как соглашался со мной?! Да помолчи, женщина!

В толпе оживлённо делились впечатлениями:

– Вот какие теперь племянники бывают!

– Уорк-шао!

– Еджаг...

– Такой строгий. Уашхо-каном клянусь!

– Лучше бы рассказал толком про эту турецкую веру.

– Ага! И про эту самую книгу...

– Прогнать бы его отсюда!

– Человека легко обидеть...

Испуганный Хабала на всякий случай помалкивал, а племянник уже по-настоящему разбушевался:

– Стыд и позор! Кабардинцы все ещё танцуют безобразный сандрак! О, аллах, женщины обнажают грудь перед деревянным уродцем, перед вот этим, как его? Псат-ха?

– Э-э-й, люди! Послушайте, как он бессовестно бранится, – прогу-дел мужчина с требухой в руках. – Совесть в дороге обронил, пока сюда ехал? Псатху не трогай!

– Это я бессовестный? – взбесился Адильджери. – А ты совестный? Ну, смотри, что я сделаю с твоим Псатхой... Потом и до тебя доберусь, собакой вскормленный!

И тут произошло нечто ужасное и невероятное. Адильджери выхватил саблю, подогнал коня поближе к столбику с изваянием и несколько раз с силой рубанул по тому месту, где у Псатхи должны были быть щиколотки (если б их потрудились как следует вырезать), – полетели щепки и зашаталась фигурка деревянного божества. Ещё один хороший удар – и несчастный Псатха свалился со столбика и покатился сухим поленом по сырой земле.

Толпа в ужасе замерла.

– Видали! – торжествующе возгласил Адильджери. – И так будет со вся...

Первым опомнился «богохульник» с требухой. Он широко размахнулся – и вывороченный, но ещё не очищенный бараний желудок, издав смачный хлюпающий звук, залепил румяное лицо поборника ислама. И сразу же в его сторону полетели комья грязи, черпаки и чашки, а кто-то метнул, подобно аркану, гирлянду осклизлых козьих кишок, и она повисла на шее лошади. Испуганное животное встало на дыбы и понесло своего седока прочь. Всадник скрылся в лесу и возвращаться обратно, кажется, не собирался.

³Адильджери намеренно произнес имя бога с таким разделением, ведь «ха» – это по-кабардински волк (позднее – собака).

Возбуждённые крестьяне долго не могли прийти в себя. Праздник был явно испорчен. Не знали, что и делать: то ли разбрестись по домам, то ли продолжать обрядные танцы и моления.

– Не думал я, что доживу до такого страшного часа, – грустно сказал старик, который первым вступил в разговор с Адильджери. Почему он не был поражён громом на месте, а?

Кто-то из молодых, под еле сдерживаемые ухмылки приятелей, важно изрёк:

– Зато он был поражён на месте грязной требухой и вонючими кишками!

Мужчины постарше грозно покосились на остряка, и тот спрятался за спины своих сверстников. Обездоленные паломники тяжко вздыхали:

– Напакостил нам тут племянник Хабалы... Вот горе!

– Хабала, ты только на нас не обижайся...

– А может, эта новая вера и вправду...

– От таких слов язык может отсохнуть. Жаль мне тебя тогда будет!

– А я боюсь, как бы у тебя глаза не вытекли от такой жалости!

– Эй, вы! Не вздумайте ссориться! И без того есть, о чем подумать.

– А что думать? Разве может играть музыка, когда Псатха плачет?!

– Да-а-а, Хабала! Хоть он и твой племянник...

– А про корову Ахына забыли? Подождём явления чёрной нашей красавицы!

– Ой, дуней! Уж этот племянник!

– Подождём явления...

– А вот подождите, подождите ещё немного: скоро не в один кабардинский дом такой же самый племянник явится – и заплачет Псатха!

Адильджери, ослеплённый яростью и почти до слез униженный, скакал через лес, ничего не видя перед собой. Ветви хлестали по лицу. Он бросил поводья и одной рукой придерживал шапку, а другой прикрывал глаза, будто пряча их от возможных свидетелей его позора. Незадачливый пророк глухо стонал и осквернял свои уста татарскими ругательствами: в кабардинском языке не имелось таких сильных и непристойных слов.

Однако по натуре Адильджери был человеком хоть и вспылчивым, но отходчивым и скорее жизнерадостным, чем угрюмым. Скоро он начал постепенно успокаиваться, а его конь, чувствуя перемену в настроении седока, перешёл с галопа на рысь, затем с рыси на шаг.

Возле чистого и глубокого ручья Адильджери спешился, лёг грудью прямо в холодную воду и окунул несколько раз голову. Потом он поймал чуть было не утонувшую шапку, встал, ударил ею об колено, встряхнул и положил на пригретый солнцем камень. Только теперь он заметил двух людей, сидевших на берегу ручья чуть выше по течению.

Один из них выглядел немножко моложе Адильджери, другой был ещё совсем юнцом, у которого только начинали пробиваться усы. Но когда они встали, оказалось, что оба одного роста и почти одинакового сложения. Их широкими плечами, статностью, гордой осанкой нельзя было не залюбоваться. У старшего на бледном, слегка обветренном лице выделялись черные дуги бровей над спокойными темно-серыми глазами, кончики густых усов свешивались по углам полного, но твёрдого рта. У юного мужчины – а именно так следовало бы назвать не по годам развитого парня – на неожиданно нежном, как у невесты, лице играл румянец, в глазах цвета спелых терновых ягод светился пытливый, ещё по-детски застенчивый интерес ко всему окружающему. Вот так он и смотрел на несколько необычное поведение Адильджери. Будущий мулла слегка растерялся и забыл, что он должен первым приветствовать незнакомцев. Однако старший из них, будучи, вероятно не только воспитанным, но и чутким человеком, слегка поклонился и сделал рукой приглашающий жест:

– Салам алейкум, путник!

«Вот бы мне его голос, – тоскливо подумал Адильджери, – таким рыком медвежьим любую толпу можно привести к повиновению».

– Уaleyкум салам, добрые люди, – Адильджери подошел поближе, а юный джигит взял у него из рук поводья коня и привязал разгорячённого скакуна к дереву.

– Присаживайся, – сказал незнакомец. – Надеюсь, не побрезгуешь нашей бедной трапезой.

На небольшом медном блюде лежала лепёшка копчёного сыра, большой кусок просяной пасты, несколько кусочков халуа — сладкого кушанья из масла, мёда и ячменной муки. Рядом с блюдом, на широкой и короткой дубовой дощечке – варёная курица, пучок «медвежьего» лука – черемши – да соль в костяной коробке.

– Дай аллах, чтоб каждого путника приглашали к столь «бедной» трапезе, – вежливо ответил проголодавшийся проповедник и сел на разостланную на земле бурку.

Хозяин привала тоже сел, а парень аккуратно разделил курицу по суставам и положил перед гостем лучшие части – ножки и желудок.

Адильджери отщипнул кусочек пасты и сказал:

– А вот юноша...

– Бати его зовут, – подсказал старший незнакомец. – А меня – Болет.

– Так вот, уважаемый Болет, пусть Бати тоже садится с нами. Ведь в лесу – это не в кунацкой. Походный привал...

– Садись, Бати, – пригласил Болет. – Наш гость... э-э.

– Адильджери.

– Да, наш старший – Адильджери, он правильно говорит. Здесь тебе

не придётся таскать новые кушанья и наливать нам мыхсыму. Дорога есть дорога.

Бати сел рядом с Болетом и скромно занялся куриной шейкой.

– Сколь приятно встретить в пути единомышленника – настоящего мусульманина, – положил начало «застольной» беседе Адильджери. – Ведь ты приветствовал меня, Болет, по мусульманскому обычаю, так?

– Это скорее по привычке, – усмехнулся Болет. – Ведь мы с моим каном Бати несколько лет прожили в Крыму.

– О-о! – уважительно протянул Адильджери и отбросил в сторону обглоданную косточку. – Как бы я хотел там пожить!

– Не стоит, – возразил Болет.

– Не стоит?! – удивился Адильджери. – Среди правоверных!.. Не видеть вокруг себя ни одной языческой рожки – и не стоит? Да только ради этого...

– Не думай, милый земляк, что крымские татары, хоть они все поголовно и мусульмане, только и делают, что возносят молитвы аллаху, творят добрые дела и ведут благочестивые беседы. Они такие же люди, как и мы, только большинство из них развращено военачальниками и муллами — да, да, муллами тоже, и хотят, чтобы работали, накапливали им богатства другие люди, другие народы. Разве они не грабят адыгов? Разве мало в крымской или турецкой неволе наших мужчин и женщин?

– Но зато ведь они несут в наши края высокий свет ислама! Когда мусульманство будет принято всем народом, то многое переменится к лучшему.

Болет покачал головой и ничего не сказал. Адильджери стал понемногу горячиться:

– Но как можно терпеть, когда ещё добрая половина наших чувячников продолжает упорствовать в неверии!

– Человеку бывает нелегко отказаться от старых привычек.

– Так надо его заставить!.. – Адильджери с силой ударил кулаком по своему колену и чуть-чуть покривился от боли. – Заставить! Заставить!!!

– Нет, нельзя. Коран не позволяет.

– Как... не позволяет?.. – упавшим голосом спросил Адильджери. – Конечно, я пока ещё не обучен грамоте и сам не читаю священную книгу, но многое из того, что в ней написано, я знаю. Знаю со слов двух-трёх татарских мулл. Один мулла даже был гостем в моем доме почти целую зиму и каждый день учил меня молитвам...

– И сам при этом не показал себя большим знатоком Корана, – подхватил Болет. – Думаю, что так оно и было, дорогой мой еджаг. Ведь и среди мулл немало напыщенных невежд. Я не хаджи, но книгу мусульман читал внимательно. Правда, не на арабском, а на турецком языке. И хорошо помню оттуда вот такой аят: «Как могла бы уверовать хоть одна

душа, если бы на это не было соизволения от аллаха?» Вот что сказано в сотом аяте из десятой суры – я легко запомнил эти числа: они прямые и острые, как стрелы.

Адилджери молчал.

– Могу привести ещё одно место из Корана, – спокойно гудел своим рокошущим басом Болет. – Вот слушай: «Если было бы угодно нам, мы каждой душе дали бы направление пути её...» Правильно, Бати? – вдруг обратился он к юноше.

Бати густо покраснел и кивнул головой.

Адилджери оторопело воззрился па парня.

Болет, казалось, не замечая его удивления, сказал пареньку:

– Лошадь нашего старшего, наверное, уже остыла, пойдёшь напои её.

Когда Бати отошёл, он объяснил:

– Мальчишка учился в турецком медресе, знает книгу наизусть.

– О, аллах! – с завистливым восхищением вздохнул Адилджери.

– Но мне все-таки непонятно одно, Болет: Как можешь ты, такой знающий, да ещё и не простого рода, я это вижу по твоей одежде и оружию, – и вдруг защищать язычников!

– Я людей защищаю. Тех самых, кто кормит и одевает самих себя, да ещё и толпу дармоедов из «не простого рода».

– Постой, постой! – рыжая борода Адилджери мелко затряслась от гнева.

– Ты называешь дармоедами тех, кто наверху?

– Да, кто наверху. Как пена в кипящем котле. Только давай не будем волноваться. Ведь и спорить можно спокойно.

Адилджери помрачнел ещё больше:

– Не понравились бы твои слова князю, у которого состою я в свите.

– Какому князю?

– Хатажукову Кургоко.

– А-а-а... – задумчиво протянул Болет.

Он долго молчал, затем, будто решившись на какой-то ответственный шаг, медленно проговорил:

– А теперь я скажу слова, которые твоему князю, наверное, понравятся: сын Кургоко не утонул семь лет назад в Тэрче, он жив и здоров.

Адилджери вскочил на ноги: по его лицу было видно, что он хочет мучительно хочет знать подробности, что его терзают сейчас десятки вопросов, готовых сорваться с языка, но Болет предостерегающе поднял руку.

– Больше ни слова! – сказал решительно, а потом добавил: – Ещё не время. – Он встал и сделал Бати какой-то знак рукой.

Бати исчез в лесной чаще. Скоро в лесу раздалось приглушенное конское ржание, лошадь Адилджери взволнованно ответила на него.

Но вот Бати появился снова – он вёл под уздцы великолепного коня – хоару, буланого с чёрной гривой, чёрной полосой на спине и чёрным хвостом.

Адилджери посмотрел на коня, тяжело вздохнул и стал прощаться. В это время со стороны лесной опушки, где проходила дорога, донёлся неясный шум, какие-то крики, разноголосое пение.

Адилджери, Болет и Бати, который прибрал остатки пиршества и приторочил к седлу туго скатанную бурку, вышли на дорогу. Навстречу им двигалась радостно возбуждённая толпа крестьян, то ли гоня перед собой, то ли сопровождая большую чёрную корову без единого светлого пятнышка на лоснящейся шкуре.

– Вот вам, пожалуйста! – криво усмехнулся Адилджери. – Это называется «самошествующая корова Ахына». Гонят к Махогерсыху – на своё проклятое капище.

На губах Болета появилась добродушная улыбка:

– Так и «шествует», несчастная, от самого моря?

– Какой там! – Адилджери досадливо махнул рукой. – В каждом селе, я уверен, эту скотину подменяют. А потом говорят, что «Ахыном посланная», сама прошла весь путь без остановки. На Махогерсыхе ей отдадут почести, а потом заколют и съедят. Тьфу!

Женщины, мужчины, ребятишки, идущие позади коровы и сбоку, были исполнены не религиозного смирения, а скорее праздничного веселья. Несколько сельских музыкантов извлекали из своих самодельных свирелей и доулов — небольших барабанов, по которым отбивают ритм руками, – бодрые звуки танцевальных мелодий. Многие богомольцы шли, приплясывая и оживлённо перекликаясь:

– Шагает, шагает наша красавица блаженная!

– Хорошо идёт милая!

– Да уж немного и осталось...

– Эй! Дорогу священной корове!

В больших и красивых глазах у «священной» застыло тоскливо-покорное выражение. Покачивая упитанными боками, она шла вперёд мерной деловой поступью.

– Ну, я им сейчас покажу... – пробормотал Адилджери, готовый снова приступить к своим добровольно возложенным на себя обязанностям мусульманского миссионера.

– Подожди-ка, еджаг! – сказал Болет. – Послушай ещё одно изречение из Корана: «Дай неверным отсрочку, оставь их в покое на несколько мгновений».

– Несколько мгновений уже прошло!..

Болет пожал плечами:

– Ну, как знаешь, – и обратился к юноше: – Нам пора в путь, Бати. Не стоит быть свидетелями чужих дел...

Канболет и Кубати неторопливо шли по едва заметной лесной тропинке. Буланого красавца вели под уздцы.

– Вот так, братик, – сказал Канболет. – На родину мы вернулись, а куда деваться – пока не знаем. Сейчас мы нуждаемся в трёх вещах: во временном пристанище, в хорошей лошади для тебя (и, конечно, в полном снаряжении) и третье – самое трудное – в рассудительном даделе – посреднике между мной и главным князем Кабарды, твоим, значит, уважаемым родителем.

– Болет! А этот самый Адильджери, он ведь забыл, что ты ему сказал о сыне Кургоко...

– Одержимый! Стоило ему увидеть этих людей с коровой, и он сразу же почувствовал себя пророком. Такого человека опасно брать в посредники. Но когда его побьют, как это, наверное, уже сегодня было, он останется один, успокоится и тогда обязательно вспомнит о нас. А если хорошенько поразмыслит, то догадается, что Бати – это и есть утонувший Кубати, а Болет... хотя вряд ли ему придёт в голову, что он видел Канболета Тузарова, с которым никогда раньше не встречался.

– Как называется место, где мы сейчас находимся?

«Мальчишка рассеян и возбуждён, – подумал Канболет. – Никак не придёт в себя с тех пор, как попал в наши предгорья».

Вслух он сказал:

– Лесистое урочище в междуречье Шеджема и Баксана называется Махогапс. Тебе здесь нравится?

– В сто раз больше, чем в Крыму! – его глаза восторженно блеснули. – А лес какой!

– А какая охота! – подмигнул Канболет, останавливаясь и показывая парню под ноги, где на мягкой сыроватой земле красовался ясный отпечаток медвежьей лапы. – Вот это видел?

– Уо-о, медведь! – восхищённо вздохнул Кубати. Узкая тропинка, затайливо извиваясь среди вековых чинар, ползла вверх по довольно крутому склону, гребень которого был увенчан жёлто-бурыми гранитными скалами, похожими на полустёртые зубы старого мерина. По следам было видно, что косолапый бродяга пересёк этот склон напрямик, снизу вверх, и прошёл тут совсем недавно. Вот и конь вдруг встрепнулся, раздул ноздри, захрапел.

– Болет, можно, я сбегая посмотреть? – Кубати умоляюще посмотрел на своего строгого воспитателя.

Тузаров едва удержался от улыбки, которая могла бы напомнить парню, что он совсем ещё мальчик: зрачки расширены, словно у котёнка, почуявшего мышь, губы слегка подрагивают. Как тут не позволить!

– Ну, ладно, беги, – сказал Канболет. – Но только посмотреть и не больше, если только зверь ещё не удрал за те скалы. Понял? И в проход

между скалами не суйся. Жди там меня.

Как гончий пёс, спущенный с поводка, рванулся Кубати вверх по крутому склону, держась рядом с медвежьими следами. Канболет сел на коня, который сразу же успокоился, лишь почувствовал на себе привычную тяжесть, и неторопливо, рысцой, засеменял по извилистой тропе. Немного не доезжая до седловины в скальной гряде, Канболет (он уже потерял воспитанника из виду) услышал вдруг женский крик, блеяние козы, а затем – скорее испуганный, чем угрожающий – рык дикого зверя. Оставшееся расстояние до прохода в скалах встревоженный Канболет покрыл за несколько мгновений. На небольшой полянке с той стороны перевала ему открылась любопытная картина. Сначала он увидел женщину, с трудом удерживающую за верёвку длиннорогую козу, затем – чуть подальше – небольшого и очень тощего медведя и весело хохочущего Кубати. Тузаров взялся было за рукоять сабли, но сразу понял, что оружие не понадобится. Уж если кто и нуждался здесь в помощи, так это не Кубати, а косолапый хозяин леса. Парень вцепился ему правой рукой в короткий огузок, ещё и густая шерсть, удачно переплелась между пальцами, и сильными рывками то и дело отрывал заднюю часть медведя от земли. Зверь извивался, стараясь обернуться и достать обидчика передними лапами или зубами, но Кубати, отступая назад, делал новый рывок – медведь, теряя опору, чуть ли не тыкался, мордой в землю. Бедняга ревел от злости и от страха, срываясь порой на панический щенячий визг.

Канболет не смог удержаться и рассмеялся от души. Он понимал своего воспитанника: трудно найти лучшую забаву для смелого и сильного юноши. Однако пора было и кончать эту забаву.

Вот и женщина кричит, что больше не в силах удержать свою проклятую скотину, и пусть один медведь или поскорее прикончит другого, или отпустит его с миром.

– Бати! – крикнул Тузаров. – Хватит измываться, над бедным животным. Оставь его в покое.

Юноша отпустил зверя и дал ему пинка в зад, отчего медведь перекувыркнулся через голову. Оказавшись снова на четырёх ногах, он уже не стал оглядываться, а со скоростью зайца бросился наутёк и с хрустом вломился в чащу подлеска.

Коза сразу успокоилась, обвела надменным взглядом всех присутствующих и стала, как ни в чем не бывало, пощипывать молодую травку. С сияющими от счастья глазами Кубати подошёл к Канболету. Тузаров покачал головой:

– Доволен? Справился с худым полуживым зверем? Чуть не до смерти замордовал несчастного медведя, ещё не набравшего сил после зимней спячки. Нехорошо, братик, обижать тех, кто слабее тебя.

Кубати густо покраснел, не зная, то ли принимать слова воспита-

теля за шутивную похвалу, то ли за серьёзный упрёк. По виду Тузарова невозможно было в таких случаях угадать, ругает он тебя или одобряет. И никогда он ничего не объяснит, предпочитает оставлять своего кана в мучительном неведении.

Вдруг женщина крикнула так, что мужчины вздрогнули:

– Канболет! Ты ли это?!

Тузаров только сейчас по-настоящему посмотрел на женщину и узнал её сразу.

– Нальжан? Ну конечно, Нальжан! – он спрыгнул с коня и подошёл к ней.

Ровесница Канболета, знавшая своего тлекотлеша ещё ребёнком, когда они вместе с шумной ребячьей ватагой бегали купаться па Терек, порывисто обняла его и заплакала.

– Уж и не мечтала тебя когда-нибудь увидеть...

Канболет взял её за круглые, но совсем не по-женски широкие плечи, застенчиво отстранился от её высокой груди и долго всматривался в её лицо, поражавшее своей грубоватой красотой, которая могла скорее отпугнуть, чем привлечь к себе мужчину. Да и ростом она была на полголовы выше Канболета. Нальжан родилась в семье третьестепенного уорка. А уж в кого такая пошла – неизвестно. Вероятно, несколько поколений её худосочных предков, никогда не отличавшихся ни мощью, ни приятной наружностью, копили и копили силу, по крохам откладывали красоту, чтобы когда-нибудь разом свалить накопленное богатство па одного из будущих наследников (хотя хватило бы и на двоих). Этим наследником и оказалась Нальжан. В её огромных темно-карих глазах Канболет видел силу и не женский разум. Хватало в них ещё места для бесконечной доброты, а возможно, и для более сильного чувства. Глаза эти давали понять, что они могут быть и грозными, особенно если над ними сдвинутся черные, почти сросшиеся брови. При улыбке её крупные пунцовые губы, очерченные решительно и чётко, обнажали два ряда безупречно ровных белых зубов.

– Ты почти не изменилась, Нальжан, – сказал Канболет. – Только ещё красивее стала. И удивительно, что ещё не встретила достойного тебя жениха. – Тузаров заметил, что её крепкий стан туго стягивала шнуровка коншибы – девичьего корсета. (Как отличать девушку от замужней женщины по манере носить головной убор, он тоже помнил.)

Нальжан из приличия сделала вид, будто немного смутилась.

– Ты достаиваешь меня добродушной шутивости, молодой наш хозяин. Да ведь мне, глупой привередливой деве, всегда хотелось иметь мужа хоть немного похожего на тебя. А таких не попадалось. Вот и упустила я своё время. Видно, теперь всю жизнь придётся оставаться в доме старшего брата-вдовца.

– А где твой брат?

– А здесь, в Шеджемском ущелье. Так и живёт в маленькой усадьбе наших родителей. Ты ведь знаешь, моя старшая сестра была замужем за одним из уорков твоего отца, а родители наши умерли рано, и сестра забрала меня ещё маленькой девочкой в свою семью. Помнишь её?

– Немного помню.

– Тогда ты должен помнить, что обе её дочери вышли замуж, а сама она умерла незадолго до того страшного случая, когда твоего отца... Нальжан запнулась.

– Помню, – коротко ответил Канболет. – Ну, а муж твоей сестры?

– Убит в тот же день, что и другие защитники тузаровского дома. О, аллах! Пошли семь громов и семь молний на вшивую голову князя Алигоко! – глаза Нальжан гневно засверкали, румяные щеки побледнели. – Это он, сын змеи и шакала, виновник всему. Чтоб его потомству...

– Постой, добрая наша Нальжан, – мягко прервал её изливания Канболет.

– Об этом мы ещё поговорим в более подходящее время. Мы с моим каном только что вернулись из далёкого путешествия. Пристанница пока не имеем и...

– Ни слова! Ни слова больше, славный наш хозяин, иначе получится, будто я сама не догадалась попросить тебя о великой чести воспользоваться домом моего брата. А за мою недогадливость он оторвал бы мою глупую голову. И правильно бы сделал. Пойдём скорее! – И она так рванула верёвку, привязанную к рогам козы, что та с жалобным блеянием грохнулась оземь. – Сюда, по этой тропинке вниз, к реке, а там и жалкая наша лачуга совсем близко. Нет, аллах наверняка накажет меня за длинный язычище и короткий умишко. Но брат ещё страшнее...

«Какое трогательное сравнение, – подумал Тузаров. – И, кажется, оно не в пользу Всемогущего. Не-е-е, добродетельная богобоязненность никак не прививается кабардинской женщине».

Давясь от еле сдерживаемого смеха, Канболет передал поводья коня воспитаннику, который, не мигая, с застывшей улыбкой все время прислушивался к беседе старых знакомых.

Южный склон хребта, возвышающийся над левым берегом Чегема, немного круче северного. И лес на этом склоне гуще, разнообразнее. Если на теневой стороне господствуют вековые чинары, то на солнечной чего только нет: и боярышник, и кизил, и дикие груши, и колючий шиповник, и мушмула – все цветёт, благоухает, и каждый корешок жадно тянет соки из пробудившейся к жизни земли, и каждый зелёный листочек взахлёб упивается ярким светом весеннего послеполюденного неба.

С одного из поворотов тропинки открылся вид на бурливую многоводную реку. Стал слышнее грохочущий шум потока, разбивающегося об огромные валуны. В некоторых местах берег обрывался к воде

отвесными скальными уступами. Тропинка извивалась теперь вдоль реки, скоро она спустилась к самой воде, затем снова поползла кверху. Наконец, путники вышли на небольшое, чуть покатоое плато, заросшее травой и мелким кустарником. Неподальёку показалось несколько строений, видимо, относящихся к одной усадьбе, подальше – небольшое село.

– Мы уже почти дома, – объявила Нальжан.

Но тут их внимание привлёк внушительный отряд всадников на противоположном, более пологом и ровном берегу, по которому была наезжена широкая дорога. Всадники ехали вверх по течению реки – навстречу Канболету и его спутникам. В этом месте берега сходились близко, и через реку можно было бы легко перебросить камень.

Больше половины конников составляли крымские татары. Вслед за передовыми, среди которых, наоборот, кабардинцев оказалось побольше, ехали какие-то важные персоны. На белом арабском жеребце восседал толстый, надутый сознанием собственного величия татарин в пышно изукрашенных одеждах. Чуть позади – всадник в лиловой черкеске, с тонким шрамом через всю щеку. Канболет застыл на мгновение и напрягся, будто перед прыжком.

– Хочешь знать, кто такие? – тихо спросила Нальжан.

– Знаю, – медленно процедил сквозь зубы Тузаров. – Алигот-паша, наместник крымского хана, и князь Шогенуков, вшиголовый хищник. А вот куда и зачем они едут...

– Уже не первый раз они в этих местах. На охоту едут.

– А-а, вот как...

Кавалькада скрылась за поворотом дороги.

– Не будем задерживаться, бесценные гости наши, а то мой брат уже, наверное, собирается искать меня, как я искала эту пророком проклятую козу. О, что я говорю! Теперь она не проклятая, а благословенная, ведь милая моя козочка помогла мне встретиться с вами!

Они пересекли зелёный лужок, на котором с удовольствием задержался бы тузаровский конь, и подошли к плетневой ограде маленького двора.

Дом был поставлен на высоком каменном фундаменте и был немало похож на жилища балкарцев, чьи селения располагались выше по ущелью. Крышу, составленную из плотно подогнанных друг к другу стволов молодых сосен, поддерживали массивные дубовые столбы. Кровлей служил привычный для кабардинцев камыш, покрытый дёрном. Стены сделаны были из двойного орехового плетня, обмазанного глиной в смеси со свежим конским навозом. Были, конечно, во дворе маленькие загоны для скота, открытый сарай, а вот что это за неболь-

шое каменное строение в глубине довольно обширного сада, примыкающего к лесистому склону горы, Канболет смог определить не сразу. Только присмотревшись к белому полупрозрачному дымку, поднимающемуся над высокой трубой, он догадался: там кузница.

Из неё вышел худощавый высокого роста мужчина лет сорока пяти и неторопливой походкой направился к дому. В каждом движении этого человека чувствовалась уверенная нерастроченная сила. Короткая чёрная с проседью борода, жёсткие усы и темно-серые колючие глаза под густыми дугообразными бровями придавали его смуглому лицу немного мрачноватый вид. Но вот он бросил, казалось бы, мимолётный, но очень внимательный взгляд на наших путешественников, и резкие складки между его бровями разгладились, глаза посветлели и лицо обрело выражение спокойной приветливости.

– Брат! – радостно улыбаясь, сказала Нальжан. – Я привела к тебе гостей.

– И хорошо сделала, сестрёнка! – мягким голосом сказал хозяин дома и, повернувшись к Тузарову, с церемонным достоинством приветствовал его:

– Мой бедный дом в распоряжении моих гостей. Проходите в хачеш, вам надо отдохнуть с дороги.

Нальжан взяла поводья тузаровского коня и повела его под навес, откуда доносился запах свежескошенной травы. Кубати пошёл следом, чтобы расседлать коня и снять поклажу.

– Сана! – зычно выкрикнул брат Нальжан. – Иди сюда, дочка!

Из левой двери дома выбежала молоденькая девушка с глазами точно такого же цвета, как у хозяина дома. Увидев гостей, она будто споткнулась, застыла на месте, смутилась от неожиданности, но поклон, которым она приветствовала путников, все же получился естественным и без излишней робости.

– Сходи, позови Куанча, пусть бросает всё и спешит домой, – сказал хозяин. – Он тут рядом, в лесу. Наверное, углей нажёт столько, что мне хватит до первого снега. Потом твоя тётка скажет, что вам делать дальше.

В гостевой комнате было чисто и уютно. На деревянном полу желтели искусно сплетённые арджены — циновки из тоненьких камышинок. Очаг был сложен из красивого плиточного известняка. Остальное в гостиной — всё, как бывает в такого рода домах: тахта, застеленная цветастым войлоком, на стене — опять войлочный ковёр, на полочках у очага — глиняная, деревянная и чугунная посуда, на полу — медный котёл и медный тазик для мытья рук. Кубати поразило обилие всевозможных сабель и кинжалов, развешанных по стенам.

– Молодой витязь находится в гостях у кузнеца-оружейника, — улыбнулся хозяин дома. — Зовут этого кузнеца Емуз. А если гостю так

больше понравится, то он может считать, что его принимает третьестепенный урок из ничем не замечательного рода Шумаховых.

– Первостепенных оружейников я ценю выше, чем первостепенных дворян, – прогудел спокойным басом Канболет, снимая с пояса саблю и вешая её на крюк в опорном столбе. – Некоторые вещи здесь сработаны на славу. И на каждой чувствуется одна и та же искусная рука.

Емуз удивлённо поднял брови и склонил набок голову, словно таким способом он мог получше рассмотреть гостя.

– Ещё ни один из людей, носящих на ногах сафьяновые тляхстены, не говорил мне подобных слов.

– Подобные слова говорил мой отец. Он не учил меня различать людей по одежде, хотя сам и любил одеваться богато. Звали моего отца Тузаров Каральби. Твоя сестра хорошо его знала. . .

Емуз медленным движением руки сдвинул шапку на затылок, помолчал немного и сказал:

– Сядем, сын Тузарова. Вот здесь, на эти скамьи у очага. Сейчас нам подадут воды, чтобы ты мог смыть дорожную пыль, а потом, наверное, чем-нибудь слегка накормят.

Впервые за многие, многие дни Канболет вдруг почувствовал тихую безмятежную радость на сердце и желание хоть ненадолго расслабиться и забыть обо всем, что его тревожило.

В комнату вошла Нальжан с кумганом воды. Пока Канболет мыл руки над тазиком, она бросала загадочные взоры на брата. А тот притворно хмурился и делал вид, что ничего не понимает.

Следом за Нальжан в хачеше появилась – прелесть, а не девушка – совсем ещё юная красавица Сана. Переступив порог, она сошла, в знак особого уважения к гостю, со своих пхаваков⁴ и приблизилась к мужчинам в одних матерчатых ярко расшитых чувячках на крохотных ножках. Смущённо потупив длинные ресницы, она молча поклонилась и поставила на трёхногий столик блюдо со сладкими лепёшками, засушенными фруктами, чашами с мёдом.

– Это дочь моя, Сана, – сказал Емуз Канболету. Потом, обращаясь к девушке, он добавил:

– Можешь пока идти.

Голос его звучал сурово, но нетрудно было заметить, что эта суровость нарочитая: она никак не вязалась с выражением отцовских глаз.

Девушка ещё раз поклонилась и церемонно, то есть не поворачиваясь к гостям спиной, а попятившись, удалилась из хачеша.

– Сестра! – резко окликнул Нальжан хозяин дома. – Что-то я не видел раньше, чтоб моя дочь становилась на пхаваки. Это, конечно, твоя

⁴ Деревянные подошвы на высоких, в три пальца, подставочках – своеобразные котурны.

затея? А ты знаешь, я не люблю, когда корчат из себя знатных господ.

Нальжан не на шутку оробела, но все же нашла в себе силы мягко возразить грозному брату:

– Ну мы тоже не простолудины! – взяв тазик и кумган, она вышла за дверь таким же вежливым манером, как и её племянница.

Через некоторое время со двора донёлся приглушенный смех двух молодых людей, затем в хачеш вошли Кубати и ещё один парень в скромной черкеске без газырей, в лохматой шапке из грубой овчины и в шарыках из бычьей кожи. Кажется, юноши уже успели не только познакомиться, но и понравиться друг другу.

Кубати разгрёб тёплую золу в очаге и стал раздувать тлеющие угли, а его юный приятель положил на пол принесённую с собой охапку дров, снял котёл с очажной цепи и вышел.

– Этого моего юного помощника, – сказал Шумахов, – зовут Куанч. Балкарец. Живёт у меня с прошлой осени. Сирота. Был крепостным у одного таубия. Не вытерпел унижений, осмелился на одну предерзкую выходку и еле ноги унёс. Теперь обучается ремеслу у единственного кузнеца среди кабардинских уорков и единственного уорка среди кабардинских кузнецов.

– Наверное, хороший мальчуган? – спросил Канболет.

– Породнился я душой с этим озорником...

В очаге уже разгорелось весёлое пламя. Кубати подложил в огонь ещё несколько сухих поленьев и заторопился во двор. В дверях он чуть не столкнулся с Куанчем, который тащил котёл с водой, где плавали куски свежеразделанной бараньей туши. Повесив котёл над огнём, Куанч предложил:

– Хозяин! У меня уже в саду костёр горит. Можно, я жалбаур сделаю быстро? Балкарский, настоящий, хорошо? Ладно? – он говорил по-кабардински бегло, но произношение выдавало в нем представителя другого народа.

– Это печёнка, завёрнутая во внутренний жир? – переспросил Емуз. – Делай. И молодого гостя попотчуй. Ну и, если сами все не съедите, нам тоже принесите по кусочку.

Широкоскулое румяное лицо парня залилось краской. Он укоризненно покачал головой:

– Так можно разве говорить, а?

Емуз добродушно усмехнулся:

– Ладно, иди.

Канболет, наблюдая за всеми этими домашними хлопотами, которые казались ему милыми и трогательными, чувствовал в своём сердце блаженную умиротворённость.

После того как Нальжан поставила перед мужчинами большой кувшин с холодной махсымой, Емуз небрежно заметил, что теперь их на

время оставили в покое. Канболет понял: Шумахов хочет послушать рассказ своего нежданного гостя.

– Хорошая махсыма, – похвалил напиток Тузаров, – я такой не пробовал семь лет...

Емуз снова наполнил резные деревянные чаши.

– Должен я тебе сообщить, дорогой мой бысым⁵, а главное – брат Налъжан, которая была не чужой в доме Тузаровых, что имя моего спутника – этого безусого джигита – Кубати, а имя его отца – Кургоко Хатажуков. – Канболет помолчал, глядя в упор на Емуза, и продолжил:

– Ты самый первый человек, которому я открываю эту тайну, не считая одного случайного встречного, которого я, ничего не объясняя, попросил только передать князю, что его сын жив.

Емуз выронил чашу – она упала доньшком на столик, но не опрокинулась. Он снова её поднял и отпил несколько глотков.

– Значит, маленький Кубати не утонул?! И нашему главному пши предстоит большая радость?

– Ему-то предстоит, а вот мне – не знаю.

– Да-а-а... Пока об этом один аллах знает. Как ты поладил с мальчиком? Или ему неизвестно своё имя, или он не подозревает о том, что оба его дяди...

– Ему-то все известно, – перебил Канболет. – Но не всем известно, что на мне кровь лишь одного Мухамеда, убийцы моего отца. А Исмаила тоже убил Мухамед, когда тот пытался помешать ему в охоте за этим проклятым панцирем. Брат убил брата прямо на глазах ребёнка. Это видел ещё один человек – Алигоко Вшиголовый.

– Вот это новость, клянусь наковальной Тлепша! Да простит Аллах нестойкость Емуза (каб., значит «стойкий»), у которого этот бог частенько соскакивает с языка. Но каков Алигоко! Вот шакал! Ведь он тебя, Канболет, с головы до ног облил кровью Исмаила. И все в Кабарде поверили, что ты...

– Я опасался этого, – грустно сказал Канболет, – но все же надеялся, что правда не будет похоронена.

– Ничего. Теперь мы её раскопаем и сбросим с неё покровы лжи.

Собеседники, задумавшись, некоторое время молчали. В котле закипала вода. В комнату бесшумно проскользнул Куанч, ловко снял пену, подбросил в очаг дров и так же неслышно исчез.

– Да! – встрепенулся Емуз Шумахов. – А ведь я должен, наверное, принимать твоего кана, как принимают княжеских сыновей?

– Нет, – решительно возразил Тузаров. – Он пока ещё только мой воспитанник. И я не учил его кичиться княжеским происхождением. – Канболет сказал это точно таким же тоном, как и слова о том, чему не

⁵ Хозяин угощения и ночлега.

учил его старый Каральби. – Мой кан крепко усвоил одно важное правило: если чем и стоит гордиться в жизни, то не благородной кровью, а благородными и мужественными поступками.

– Об этом же говорит один человек, которого я уважаю больше всех в Кабарде! – Емуз был заметно взволнован.

– Кто этот человек? – спросил Тузаров.

– Я тебя ещё с ним познакомлю. Ты вряд ли слышал о нем.

– Я вообще мало встречал хороших людей...

– Зато всяких людей повидал, я думаю, множество?

– Повидал... Расскажу тебе все по порядку... Слушай мой хабар, – сказал Тузаров.

– После того как я отомстил бешену Мухамеду за смерть своего отца, а затем прошёлся плетью по шакальей морде Шогенукова и зарубил пополам его шапку, я думал, что мне никогда больше не жить в Кабарде, никогда не видеть родной земли. И вдруг я наткнулся в лесу на мокрого, дрожащего от холода и страха мальчика, чуть не утонувшего в тот вечер в Тэрче. Узнав, кто он такой, я решил взять его с собой в изгнание. Вырастив из сына князя мужчину и воина, я мог рассчитывать на примирение Кургоко. Немало, думал я, будет значить и рассказ самого Кубати о смерти Исмаила. Скорее бы Хатажуков узнал правду...

Я очень радовался тому, что мальчика не пришлось увозить силой. Об одном только я жалел и продолжаю жалеть до сих пор: напрасно оставил в живых Алигоко Вшиголового. Но в тот час я ещё не подозревал, что руку убийцы моего отца и разорителя нашей усадьбы направлял именно он, трусливый подстрекатель и алчный хищник. И понял я это уже позже и не без помощи Кубати, который через несколько лет, повзрослев, смог по-настоящему оценить все подробности поведения Алигоко, каждое произнесённое им слово, каждый многозначительный взгляд или ухмылку – так мы с ним и разобрались в истинном смысле тех кровавых событий.

Без особых сложностей доехали мы с Кубати до Сунджук-Кале, откуда я хотел перебраться в Крым. У меня с собой не было никаких ценностей, а в тех местах, где хозяйничают татары, и шагу не ступишь без денег. Либо помирай на глазах у всех с голоду, либо продавайся в рабство. А продавалось и покупалось в этом людском скопище все что угодно: всевозможное оружие, лошади, невольники, среди которых больше всего было адыгов, калмыков, курджиев, мудави...⁶

Впервые в жизни я собирался заключить сделку. У нас не оставалось никакой другой выхода, кроме продажи бабуковской лошади. Мальчик очень нуждался в тёплой одежде, а оба мы – в крыше над головой.

Один торговец предложил мне за бабуковскую лошадь тридцать ту-

рецких серебряных монет – пиастров.

Одного пиастра нам с Кубати хватало на то, чтобы два дня и две ночи прожить на постоялом дворе. Я купил все необходимое для мальчика, а себе – бурку и башлык.

Оставшиеся деньги должны были пойти на дорогу в Крым. Но, хотя в гавани теснилось множество судов, ни одно из них не отваживалось поднять якорь.

Мы попали сюда в неудачные дни: джигиты морских просторов пережидали время осенних бурь. Очень огорчались и работорговцы: невольников надо было кормить – кто же станет их покупать раньше, чем наступит день отплытия!

Не знаю, что я стал бы делать дальше, если б нам неожиданно не повезло. Как-то раз на пустынном берегу на меня напали три грабителя. У одного из двух, кто остался лежать на земле, оказался увесистый кошель с серебряными бешликами и пиастрами, чуть поболее того, чем я располагал после продажи лошади.

Теперь можно было спокойно дожидаться перемены погоды. Наконец, волнение на море улеглось, а волнение на базаре достигло наивысшей силы. Суда спешно грузились всякими припасами, пресной водой, а затем – в последнюю очередь – и «живым товаром».

Мы попали (вместе с нашим Налькутом) на большую и очень грязную греческую фелюгу, которая отправлялась в Каффу.

Отплывали в пасмурную погоду. Так же пасмурно было и у меня на душе. Тяжёлая тоска сдавила мне сердце при виде удаляющегося берега. Я боялся за Кубати: как бы не разревелся. Но мальчик, против моего ожидания, был оживлён и весел, задавал десятки вопросов.

Он спрашивал, глубокое ли море, водятся ли в нем змеи, может ли корабль скакать по волнам так же быстро, как хороший скакун, почему вода в Ахыне солёная, и кто её посолил, живут ли на морском дне испы и если да, то как же они разжигают огонь в своих очагах, куда летит эта чайка и откуда ветер дует...

Наутро, пробудившись от сна, мы с Кубати вышли на палубу и дружно ахнули от изумления: стояла ясная тихая погода, и море, вчера такое неприветливое, теперь искрилось чистой лазурью. Высокое голубое небо где-то далеко-далеко цеплялось своим вогнутым краем за край моря. Земли нигде не было видно. Мальчика это не удивило. Он сказал, что если отходить подальше от дома, то скоро он будет умещаться на ладони вытянутой к нему руки, затем на ногте большого пальца, потом станет меньше самого маленького муравьишки. Ну, а сейчас мы так далеко отъехали от берега, что сама

⁶ Так кабардинцы называли в старину грузин и абхазцев.

⁷ Сказочные карлики в кабардинском фольклоре.

земля стала такой крошечной, что разглядеть её невозможно.

Землю – и это была чужая, не наша земля – мы увидели к вечеру. Она медленно росла на наших глазах. Сначала мы видели неровную скалистую кромку берега, позже стала различимой белая россыпь домиков. Солнце уже окунуло закраину своего диска в морскую воду (я невольно ожидал, что вода закипит и вспенится), когда борт нашего судна коснулся причала.

Все, кто плыл на корабле, свершили вечерний намаз, воздавая хвалы Милостивому и Всемогущему за благополучное путешествие, и заторопились к сходам.

Вот она, чужбина...

Так, наверное, чувствует себя олень, спасшийся от погони. Быстрые ноги принесли его в неведомые места, и вот он настороженно осматривается: нет ли здесь других охотников или хищных зверей, и если его жизни сейчас ничто не угрожает, то надо ещё найти подходящее пастбище. И неизвестно, богатым оно будет, или скудным и будет ли вообще? До сих пор я старался не думать о том, как стану жить, чем заниматься в изгнании, что смогу сделать для Кубати. Теперь пришло время крепко обо всем этом подумать.

В день, когда я ступил на землю Крыма, я вдруг почувствовал себя зелёньким юнцом, которому не хватало опыта и мудрости зрелых мужей. А проще говоря, мной овладела робость и неуверенность, как у той собаки, что случайно оказалась в чужом дворе.

Надвигались сумерки, и я, не обнаруживая перед Кубати своего беспокойства, мучительно искал выход из положения. Но ни одна здравая мысль не забредала в мою голову.

У извилистой, поднимающейся к верхней части города, дороги протекал арык с чистой водой. Глухие стены глинобитных и каменных строений выглядели равнодушными и негостеприимными. Я остановился, чтобы напоить своего доброго коня Налькута.

Из глубокой задумчивости меня вывели чьи-то гортанные голоса. В трёх шагах от меня стояли два татарина. Один из них, красивый молодой мужчина моих примерно лет (я имею в виду ещё «те» мои годы), одетый в дорогой парчовый халат, держался с гордым достоинством. Второй, одетый гораздо проще и беднее, был, вероятно, его слугой.

– Мир тебе, чужеземец! – сказал по-кабардински татарин, что был победнее. – Мой хозяин, знатный паша из свиты самого хана, да пребудет над нашим ослепительным владыкой благословение аллаха, приветствует тебя.

– Уалейкум салам! – ответил я, глядя на пашу. – Хоть я и не очень свободно говорю по-татарски, но могу обходиться без толмача.

– Тем лучше, – паша позволил себе слегка улыбнуться. – Судя по всему, ты не из простого рода, мужественный черкес.

– Твоя пронизательность, паша, тебя не обманывает. Мой род немножечко известен в Кабарде, и в Большой, и в Малой, и потому беседа с человеком по имени Болет, тебя не слишком сильно унизит.

– А меня зовут Аслан, – представился молодой паша. Изыщные чёрные его глаза открылись пошире. – Я вижу, ты не расположен говорить о себе больше, чем сказал. Любите вы, черкесы, хранить о себе всякие тайны, особенно после очередной ссоры, которая почти всегда предшествует вашей поездке в Крым. Я угадал?

«Вот шайтан!» – подумал я и не смог удержаться от смеха.

– Если бы я тотчас распрощался с тобой и немедленно, никого больше не встречая, погрузился на корабль и уехал на родину, то всю жизнь считал бы, что татарские паши – это обладатели быстрого и острого, как наконечник стрелы, ума.

Паша рассмеялся тоже:

– Нет-нет, среди нас хватает и тех, кого иначе, как «ослиная башка», не назовёшь. Ты мне скажи, твой конь не продаётся? Я ведь за тем и вышел из ворот этого дома, принадлежащего моей вдовой и бездетной тётке.

За высокой каменной стеной виднелась пологая односкатная крыша из красной черепицы. Лицевой частью дом был обращён к морю, а торцом выходил на проезжую дорогу. Боковая часть галереи, поднятой на два человеческих роста над землёй, также смотрела на дорогу. Вот, наверное, оттуда и заметил паша моего Налькута.

Я постарался ответить ему как можно мягче:

– Разве можно продавать друга?

– Тогда, может, сыграем в кости на твоего хоару – кажется, так называется эта порода?

«Вот тебе и раз! А что скажет пророк Магомед, запретивший азартные игры?» Вслух же я сказал другое:

– Давай лучше сыграем на моё ружье. У меня хорошая эржиба.

Паша поморщился:

– В Кабарде красиво отделывают ружья, но ствольная трубка, наверное, турецкая?

– Нет. Из Испании.

– Пошли в дом. Темно становится. – Аслан дотронулся до моего плеча. – Если тебя не ждут друзья за первым же поворотом дороги, то прошу остановиться на ночлег у меня...

– За первым поворотом нас с братишкой не ждут...

– Тогда идём! – тоном, не терпящим возражений, скомандовал паша. – Халелий! Позаботься о лошади.

Итак, в первый же день приезда нам повезло. Иначе не знаю, какими глазами я смотрел бы на моего мальчугана.

Скоро мы сидели на подушках, разбросанных по мягкому ковру в

хорошо освещённом гостевом зале. В огромном белокаменном камине полыхал жаркий огонь. Халелий расставил на ковре, между мной и Асланом, серебряные блюда со свежими фруктами и очищенными от скорлупы орехами фундук, орехами грецкими и миндалём. На отдельном блюде дымился рис с изюмом, курагой, черносливом. В блестящих тонкогорлых кувшинах – янтарный шербет и рубиновый нарденк (напиток гранатового сока).

Неплохо был устроен и Налькут. Он сейчас стоял в уютной конюшне и угощался овсом вперемешку с берсимом – высушенным александрийским клевером.

Аслан-паша по достоинству оценил мою эржибу, инкрустированную золотом по стали и перламутром по красному дереву приклада. К тому же сталь была, как я уже говорил, из Испании: ствол сработали знаменитые мастера из города Толедо.

Очень понравилось паше моё ружье. Он забыл даже о Налькуте. И вот тут на ковёр увесисто шлёпнулся пузатенький кошелёк со звонким металлом, который в Крыму пользовался гораздо большим почтением, чем в Кабарде, ценившей хорошо заточенную сталь неизмеримо выше. Аслан развязал шёлковый шнурок и высыпал передо мной горсть серебряных монет.

– Ровно сотня пиастров! – объявил он. – Здесь почти все турецкие, но вот эти, самые крупные – русские ефимки⁸. Каждый из них стоит четыре пиастра. Согласен на такой заклад? Смотри, я не жаден, как многие мои сородичи.

– Ну, и я не жаден.

Аслан-паша протянул мне пару костяных кубиков, в каждую грань которых были вделаны мелкие рубиновые зёрнышки числом от одного до шести.

– Начинай.

До сих пор у меня не укладывалось в голове: как это можно – принимать гостя и тут же вести с ним торговые сделки или затевать азартные игры? Но я ещё раз вспомнил, что нахожусь совсем в другой стране, чьи обычаи отличаются от наших.

Я бросил кости.

На одном кубике выпало два, на другом – три. «Ну, вот и все, – подумал я, игра окончена».

Однако Аслану, довольно усмехнувшемуся при виде моей неудачи, повезло ещё меньше: у него выпало один и три.

– Деньги твои, – сказал он спокойно. – Ставлю ещё столько же. Теперь я бросаю первым.

Покатались костяные кубики. Вот остановился один – шестёркой

⁸ Австрийский талер с надпечаткой герба дома Романовых.

вверх, затем замер другой, уставившись на суетный наш мир четырьмя бесстрастными красными глазками.

– Ха! – Аслан хлопнул в ладоши. – Это уже неплохо. Твоя очередь, Болет-паша!

К стыду своему должен признаться, что хмель азарта ударил неожиданно и в мою голову. И пока не замерли на ковре кубики, я с трепетным волнением ждал результата. И он снова оказался в мою пользу – шесть и пять. И сразу я будто опомнился. Передо мной вдруг встали на мгновение строгие глаза моего отца. Я зажмурился, чувствуя жгучий стыд. Воровато оглянулся на Кубати и с облегчением убедился, что мальчик спит и, кажется, уже давно. Чуть в сторонке от нас он откинулся на подушки, свернулся калачиком и мирно посапывает, иногда озабоченно вздыхая во сне

Мой бысым рассмеялся так, словно услышал от меня весёлую шутку.

– Лёгкая у тебя рука, светлоликий мой черкес! А ну, попытаем счастья в третий раз.

– Нет, дорогой Аслан-паша! Хватит. Я сейчас бросил кости второй и последний раз в жизни. И этот второй выигрыш я уже не возьму.

– Как?! – удивился Аслан. – Почему?

– Потому что я ощутил в себе зарождение низменных страстишек азартного игрока.

Аслан испытующе посмотрел мне в лицо и надолго задумался.

– Ладно, – сказал он наконец. – Только вторую сотню монет забери все равно.

– Нет. Не могу.

– Возьми, говорю! – рассердился паша. – Я ведь проиграл!

– Считай, что это было в шутку. И ещё. Мне будет очень приятно, если ты примешь от меня в подарок ружье – оно тебе, кажется, понравилось.

– Постой...

– Учти, что пять зарядов пороха должны весить ровно столько же, сколько одна пуля чистого свинца...

– Но я не понимаю...

– А что тут не понимать? – я сделал вид, будто не понял, что имеет в виду паша. – Вот тебе пуля, – я протянул ему чуть сплюснутый шарик свинца (он был у меня образцом), – заказывай точно такие же. Если, повторяю, пять пороховых зарядов будут весить столько же, сколько эта пуля, то стрельба без промаха будет зависеть только от тебя.

– Ты благородный человек, – торжественно возвестил Аслан-паша. – И пусть аллах осыплет тебя своими милостями! Кстати, о каком сорте пороха идёт речь, друг мой Болет?

– Ну, вот это уже мужской разговор, – обрадовался я, ибо совесть

моя вновь обрела покой. – Надеюсь, для тебя, друг мой Аслан, раздобыть достаточный запас русского пороха, а ещё лучше – пороха инглизов не составит особого труда? Турецкого на заряд требуется больше, да и не так он надёжен.

– Ха! Турецкий! – паша пренебрежительно махнул рукой. – Такой товар не по нашему достоинству. – Он покатал пулю на ладони. – Приблизительно десять драхм⁹...

– А утром я покажу тебе, сколько пакли надо расходовать на пыжи и с каким усилием уплотнять заряд...

– И на расстоянии ста шагов можно попадать в цель не больше человеческой головы? – подхватил Аслан-паша.

– Не больше кошачьей головы, – уточнил я.

– Ага! Ну, теперь я кое с кем посостязуюсь! Завтра же начну упражняться. Хотя бы и по дороге в Бахчисарай. – Он любовно поглаживал приклад эржибы. – Да, а нам с тобой, гость с Кавказа, не по пути ли? Поедем вместе. И братишке твоему найдётся лошадь.

Аслан-паша постепенно выяснил, что у меня нет в Крыму ни одного знакомого, что мне, в общем-то, неважно, куда и с кем ехать, что до сих пор у меня нет ясных намерений относительно устройства своей жизни на ближайшие времена.

И вот тогда он предложил, а я, подумав немного, согласился заняться обучением мальчишек из родовитых семей. С десятков лоботрясов, как объяснил паша, нужно натаскивать в стрельбе из лука, в обращении с конём и саблей, закалять их дух и тело. К ним был приставлен один наставник, да недавно он сам свалился с лошади и разбил себе голову о камень.

– Твоё положение будет значительным и почтенным, – сказал Аслан-паша. – И не сомневайся в том, что я заставлю этих чванливых скупердяев щедро вознаграждать тебя за искусство, которому ты станешь обучать их раскормленных недорослей.

Но я, конечно, думал не о богатстве, наживать которое не входило в мои намерения. Главным было для меня – сделать из Кубати настоящего мужчину и хорошего кабардинца. Я спросил у Аслана, может ли мой «братишка» состоять в числе моих будущих учеников. Услышав благоприятный ответ, я больше не колебался. На этом мы закончили нашу продолжительную беседу. Аслан удалился на отдых куда-то во внутренние покои дома. Пришёл его слуга Халелий, чтобы подготовить мой ночлег в гостевом зале...

Так закончился первый и, можно сказать, неплохой день нашего с Кубати пребывания на незнакомой земле Крыма.

⁹ Мера веса, равная 3.7 грамма.

ПУТЬ КАРАВАНЩИКА



Х. М. Тхазеплов

Хасан Миседович Тхазеплов родился в 1943 году в селении Старый Черек Урванского района КБР. После окончания школы несколько лет проработал водителем в колхозе. В 1962 г. поступил на отделение механизации сельского хозяйства и вскоре был призван в армию. После службы в 1965 году восстановился в университете. Тхазеплов поступил в Литературный институт им. Горького, в связи с чем перевелся с очного на заочное отделение в КБГУ. В 1970 г. получил диплом инженера, а в 1974 г. завершил учебу в Литературном институте. С 1975-го по 1976 г. работал инструктором при Урванском райкоме КПСС. В 1976 году по предложению Адама Шогенцукова и Хачима Теунова возглавил бюро пропаганды художественной литературы при Союзе писателей КБР.

С ноября 1994-го по 1998 год Тхазеплов – председатель Союза кабардинских писателей. С 1995 по 1998-й – сопредседатель Союза писателей республики. В период своей деятельности способствовал объединению с балкарской и русской секциями. С 2000 года являлся главным редактором журнала «Литературная Кабардино-Балкария».

Поэзия Тхазеплова разнопланова, многозначна. Его поэтический мир зиждется на прочных традиционных основах: дом, семья, мать, отец, земля, небо. Это – образная система взаимоотношений человека с самим собой, с людьми, с историей, с космосом. Уже в первом сборнике стихов «Ещанэ сменэ» (Третья смена, 1971) чувствуется сильное лирическое начало, которое усиливается и крепнет в последующих сборниках «Цыхубз хужь» (Белая женщина, 1976), «Псынэ» (Истоки, 1980). Родная земля и дом, высшее человеческое призвание, любовь и верность, красота земного бытия – вот то, что поэт считает животворными истоками жизни. Х. Тхазеплов стремительно превратился в самобытного оригинального мастера слова. Поэтической зрелостью отмечены стихи в сборниках, изданных в Москве: «Лунный дождь» (1983), «Звонящий колос» (1987), «Жизнь земная» (1989).

В творчестве Х. Тхазеплова достаточно рано и ярко проявляются гражданские мотивы. В поэме «Бэракъзехъэхэм я макъ» (Голоса знаменосцев) он адресует поэтические послания разным странам, их политическим и духовным лидерам. Авторская художественная мысль питается от народных корней, движется в орбите общемировых проблем. Поэт вос-

принимает землю как общий дом, за который он несет ответственность. Автор способен взглянуть на земные проблемы со стороны «посланца к звездам», (например, поэма «Жизнь земная», построенная в оригинальной композиционной манере). Конкретный сюжет лишь намечается: во время войны мать пытается спасти своих сыновей-близнецов, но живым остается только один. Матери же удается выжить благодаря раненому дереву, из корней которого она пила сок.

Образы матери, дерева, земли оказываются взаимосвязаны (мать спасла детей, яблоня – людей, земля – жизнь) представляются единым архетипом.

В поэтических строках Тхазеплова мир воспринимается глазами детей-калек, сына, матери-японки, пострадавшей от ядерного взрыва, индейца, негра, хлебопашца, политических лидеров бывших социалистических стран и других известных общественных деятелей. Автор идентифицирует себя с каждым из них.

Х. Тхазеплов пытается синтезировать единый, универсальный взгляд на самые трагические события XX века: Вторая мировая война, Хиросима и Нагасаки.

У поэта своеобразная шкала ценностей, все происходящее он соотносит с вертикалью, соединяющей небо и землю. Измерение не плоскостное, а космическое. При этом уходит все наносное, поэтому в поэтическом макро- и микромире все ясно, конкретно, масштабно.

Тема Бога, обозначившаяся на начальных этапах творчества, со временем усиливается и постепенно выходит на первый план. Неслучайно сборник стихов и поэм, выпущенный к 50-летию автора, называется «Между Богом и мной» (1993). Тема божественного – редкая в адыгской поэзии. Жизнь земная у поэта расширяется до масштабов Вселенной и только так имеет смысл. Бог в поэтике Тхазеплова многозначен, прежде всего это – концентрация духовности, высший нравственный закон. Он – единственный, который может и должен управлять миром людей, ибо душа человеческая, по мысли автора, приходит из высших сфер. Лирический герой Тхазеплова прекрасно чувствует духовную жизнь женщины, поэтому так глубоки и прозрачны его чувства: «Тополь», «Весенние берега», «Девичий плач», «Попытка ромansa» и др. В сборник «Между Богом и мной» включены три поэмы. «Русоволосая» посвящена драматической судьбе русской девушки и ее воспитанника, сына гор. Другая поэма, «Истоки сердца», построена на диалоге двух женщин – пожилой и молодой, свекрови и снохи. Такой поэтический прием позволяет воспринимать женский мир как бы через двойной окуляр. «Рассветная звезда» – тоже поэма-диалог: ночной разговор расставшихся супругов, которые снова нашли друг друга.

Небольшой сборник «Мелодии любви» (1996) – лирические прозаические миниатюры, которые скорее можно назвать стихами в прозе.

В последний сборник «Вагъуэчърэ» (Звездный караван, 1997) вошли стихи и поэмы разных лет.

Двухтысячные годы ознаменовались тяготением автора к восточной поэтической форме. Доминирующим жанром становится четверостишие – стилизация под форму рубаи, которая наиболее полно передает семантику авторского стиха, отражая характерное философское, медитативное начало. Такая заданность индивидуального творческого направления повлияла на возникновение восточного литературного псевдонима Хасани, (который одновременно явился производным от имени поэта). Тхазеплов задается дуальными философскими вопросами: о вечности и бренности жизни, о ее величии и ничтожестве, нетленной красоте и убожестве, высоким смысле и абсурдности существования. Через индивидуальное творчество кабардинского поэта воплощается форма восточной поэтической модели художественного сознания, отчасти присущая кабардинской литературе в целом.

В 2003-2004 годах выходит «Избранное» в двух томах, в 2006 году – сборник стихов (рубаи) – более шестисот четверостиший, которые являются стилизацией, напоминающей распространенные поэтические формы Древнего Востока. Такие же произведения нашли место в сборниках «Зерна для сада» (2007), «Алмазная башня» (2009). В 2013 году выходит книга «Эпоха света», в которую включены стихотворения, поэмы, статьи о творчестве Хасана Тхазеплова, сборник стихотворений (рубаи) «Караванщик». Поэтической прозой можно назвать лирические миниатюры в сборнике «Волшебное сердце» (2013), которые передают особое состояние влюбленности в женщину, жизнь. Торжество любви и благоговения перед жизнью не представляется как конечный статичный результат некоего внутреннего процесса, а в динамике борьбы противоположных стихий. В 2015 году выходит новый сборник стихотворений, стилизованных в духе рубаи «Путь караванщика» и сборник лирических прозаических миниатюр «Птицы рая».

Х. М. Тхазеплов – член Союза писателей России с декабря 1979 года, долгие годы – главный ученый секретарь АМАН. Многие академические мероприятия были успешно организованы и проведены благодаря его личному вкладу и организаторскому таланту.

В 1999 г. Х. М. Тхазеплов был удостоен звания «Заслуженный деятель культуры Российской Федерации». В 2009 году он стал лауреатом премии Международного фонда им. М. Ю. Лермонтова. С 2000 года и до своего безвременного ухода из жизни он занимал должность главного редактора журнала «Литературная Кабардино-Балкария».

Хасан Миседович – лауреат Большой литературной премии 2018 года за книгу стихов «Путь караванщика», его перу принадлежат более 30 книг. Он – автор лирических стихов и новелл, человек разносторонних интересов, простирающихся от поэтических реконструкций восточных форм до изобретательской деятельности.

Слова посланца к звёздам

Озарённый
Солнечным сияньем,
Я летал над сумраком равнин
И желал поведать вам,
Земляне,
О тоске космических глубин.
Голос солнца
Слышал безутешный,
Светом проносившийся во мгле:
«Люди, люди,
Вашей жизнью грешной
Много зла
Вы принесли Земле.
Ведь она
Одна во всей Вселенной,
Но её вы исказили лик, —
Для того ль он красотой нетленной
В хаосе космическом возник?..»
Я вернулся
На родную Землю,
Думы солнца вам передаю
И хочу, чтоб, им душою внемля,
Вы остановились на краю...

Кровь лилась, —
И в бесконечных войнах,
Люди,
Вы не думали о том,
Как прожить
Свободно и достойно,
Сохраняя в целости
Свой дом.
Только ныне
Разум стал слышнее
Тёмных человеческих страстей:
Не нужны

Кровавые затеи
Меж живущих на Земле
Людей.
Мы на белый свет
Из тьмы явились,
Чтобы жизнь Земли
Не прервалась,
Чтоб земное сердце
Вечно билось,
С человеческим поддерживая связь.

В ночной тиши
Я слышу:
«Мама! Мама!» –
Из темноты
Смертельный
Зов земной;
Свидетель и участник
Страшной драмы,
Хочу откликнуться,
Но слабнет голос мой.
Скажи, Земля,
Где мать твоя отныне?
Как отыскать её
В мерцающей пустыне?

Я – Человек!
И ныне охраняю
Просторы искалеченной Земли;
Безжалостно
Сегодня я караю
Тех, кто её
От ран не сберегли,
Кто растоптал
Цветы равнин зелёных,
Кто замутил
Прозрачные ключи,
Кто, упиваясь
В бесконечных войнах,
Себя вели с ней,

Словно палачи,
Кто, наслаждаясь сочными плодами,
Крушил сады,
Ей причиняя боль,
Кто раздувал спесиво
Розни пламя,
Тем самым предавая хлеб и соль;
Я вижу –
Плачут матери и дети
И стонет от насилия
Земля, –
О, люди, вы передо мной
В ответе,
А пред Землёй –
В ответе буду
Я.

Слово Земли

Я – целый мир!
Я – часть Вселенной!
Одни живём
В космическом огне...
Мы связаны природою нетленной:
О, люди,
В вас я,
Как и вы –
Во мне.
О, люди, люди,
Злость свою умерьте, –
Вас о любви и нежности молю!
Когда вокруг костры бушуют смерти,
От боли содрогаясь,
Я скорблю.
Я до сих пор кормлю вас
И лелею,
Даруя жизни радостные дни,
Я отплатить вам за добро
Сумею, –
Не зажигайте смертные огни.
Меня спасая

От пожарищ века,
Спасаете от гибели себя...
Дойдёт ли
Стон мольбы
До Человека.
С которым общая у нас
Судьба?!

Мне старец
Говорил угрюмый,
Что человек –
Болезнь Земли,
Где б ни ступал он,
Там мгновенно
Цветами язвы расцвели.
И старцу я тогда
Ответил,
Что человек –
Земли родник,
Что он
Душой и сердцем
Светел...
И старец прикусил язык.

Рассказ матери

Грудными были вы детьми,
Когда, уснувших в колыбели,
Похожи на исчадь тьмы,
Фашисты
Вас убить хотели.
И я укрытие нашла
В воронке
От шального взрыва;
И вас туда перенесла,
Дождавшись ночи
Терпеливо.
Соломой мёрзлой
Лаз закрыв,

В воронке той
Жила я с вами, –
А огненный войны нарыв
Чудовищем свистел над нами.
Не помню,
Сколько скорбных дней
Я провела в воронке мрачной, –
Затих бессильно крик детей
Во тьме
Зловонной и незрячей.
Я грызла
Каменный чурек
Желая накормить вас
Грудью,
Но только слёзы из-под век
Стекали ядовитой ртутью.
Не молока –
Хотя б воды
Один глоток
В трескучей суше...
Уже объятия беды
Невинные сжимали души.
И к богу
Обратилась я
С мольбой о влаге
Драгоценной, –
И капля влаги на меня
Упала данью безвозмездной:
То яблоня поила нас,
Корнями почву прорывая,
Снарядом срезанная,
Лаз
В воронку
Ветками скрывая.
И, словно бы к моей груди,
К её корням тянулись губы...
Земные нас спасли сады,
Войной израненные грубо.
Счастливей не было меня
Среди людей
В тот вечер мрачный,
Когда ваш стон среди огня

Услышала
Во тьме незрячей.

Завет отца

Отец мой стал
Землёю вешней, –
К нему, как на свидание, иду.
Я с ним
Ночной порой неспешно
О жизни и о смерти
Речь веду.
Отец!
Не в силах слёз своих
Сдержать я,
Отец!
Ты слышишь ли
В пустынной мгле?
Отец!
Прими меня в свои объятия, –
Мне без тебя
Тревожно на земле.
Но памятник, как страж,
Не откликаюсь,
Тяжёлой думы полн,
Хранит в себе
Былых и новых поколений завязь, –
Она передалась
Моей судьбе.

Слово того, кто украшает землю

Дарю Земле
Любовь и честность,
Дарю ей
Труд упорный свой,
Дарю её
Жизнь и человечность,
Дарю ей
Правду и покой.

Дарю детей своих в награду
И говорю:
«Цвети, Земля!»
И большей
Нету мне отрады,
Чем видеть вешние поля.
Всё, что в душе
Моей хранится,
Готов Земле родной отдать,
Чтоб ликовала,
Словно птица,
Её живая благодать.

Ребёнка
Убаюкала Земля
И в нежные туманы
Спеленала,
Цветами озарённые поля
Упали в колыбель
На покрывало.
И песня колыбельная
Звучит
В притихшем мире сладко, одиноко,
Но где-то вновь
Оружие гремит
То с Запада, то с Юга, то с Востока...
...Эй, перестаньте
Оружием бряцать,
Чтобы не страшно детям
Было спать...

Переводы Ю. Никоньчева

Добрая песня

Солнце ли высветит радости наши,
День ли настанет вчерашнего краше,
Время ль наступит посева семян,—
Добрую песню разносит Хасан.

В зной ли палящий, в жестокую вьюгу,
Чтобы сердца прикипели друг к другу,
Чтобы не сбился с пути караван,—
Добрую песню разносит Хасан.

Чтобы с мечтой о несбыточном чуде
Не расставались хорошие люди,
Чтобы их души не застил туман —
Добрую песню разносит Хасан.

Пишу тебе, мой друг бесценный,
В письме я каюсь и молюсь.
На всепланетной людной сцене
С судьбой неведомой борюсь.

Не понимаю: в чем я правый,
А коль неправый — в чем вина?
Я лишь в добре взыскую славы,
Со злом лишь у меня война!

А разве жертвенность наивна?
И благосклонность не мила?
А небо звездное так дивно,
Что мне Вселенная мала!

Не понимаю жизнь в обрывках,
Где ткутся дни узором мет,
Где люди в истинных ошибках
Находят свой inferный свет...

Пишу тебе, мой друг, возвращенный
Жестоким веком, впавшим в грех...
Скажи на милость: ты крещенный?
Ведь на земле свой знак у всех.

Подошел ли Я вплотную
К той критической черте,
Где природу, мне родную,
Загубили Черти Те?..

Те, которые без Бога
И без ангельской трубы
Вьются около порога
Всекосмической судьбы.

Подошел ли Я к границе,
Где порок, имея власть,
Искажая наши лица,
Плоть высасывает власть?

Где Вы, Люди, Жизнелюбы!
Где ты, Сила всей Земли?!
Жизнью правят благорубь,
Что нас к бездне подвели.

И шагнуть боюсь к границе,
И назад идти нельзя...
Изощраются в столице,
Приказаньями грозя.

Может, время, брат, такое?
Каждый оскорблен и бит.
Неприятием покоя
В каждом сердце яд горит?!

Может, так, а может – эдак.
Жизнь в любви не терпит Яда!
С высоты Вселенских веток –
Человечество не стадо.

Но, как видим, вероломно
Проникая в суть вещей,
Силой черною, погромно
Сокрушают мир Людей.

Как же Я наказан этим!
Или это лишь испуг?
Если мы без ВЕРЫ едем?
Если будет пропасть вдруг?

1992

Ты прочти книгу эту,
Смысл в раздумьях разреши.
Ходим мы по белу свету
Собирать устав души.

Для души свои законы
На земле и в небесах.
Ты взглядишь в черты иконы:
Разве жизнь не в тех чертах?

Жизнь, кочуя по Вселенной,
До тебя дошла теперь.
Ты – теперь переселенный
В мир людей из тайных сфер.

Ключ от тайн в душе упрятан.
А душа в терзаннях спит,
Будто Бог совсем не рядом.
Чтобы спящих осудить.

Словами Неба говорит Хасан.
Вы в этом убедитесь очень скоро.
Он не гордыней темной обуян,
Возвысив голос над всеобщим хором.

Хасан не тот, кто, небо позабыв,
В суетной толчее переродится,
Не тот, кто, не узрев во мгле обрыв,
Способен в ослеплении разбиться.

В туманной жизни вырос он, как свет,
И излучает Доброслед с рожденья.
Иных Миров принес он Вам совет –
Устава неба жизнеспособенье.

И этот Дар благословит дела,
Востребованные Земною жизнью.
А то вражда людей с ума свела –
Готовы на Голгофу и на тризну...

А надо Благом осенить все дни
И Дышесвет сольется с Небодержцем!
Не то взовьются адские огни,
И Человек предстанет адовержцем.

И приверженцы Корана,
И адепты христиан
Делят общество на кланы, –
Значит, в жизни есть изъян!

Кто кого переиначит?..
Есть ли смысл в земной борьбе?
И для Бога много ль значит
Форма верности судьбе?!

Будь ты сто раз христианин,
Иль Буддист, иль чти Коран,
Помни: ты пока Землянин
И живешь среди Землян!

Верь Всевышнему и Благо
Не давай хулить устам.
Верь в душе и верь без страха,
Чтоб не стало страшно Там...

Тимуру

Он как будто жизнь украл у Бога,
И за это Рок ему и мстит..
Все труднее у него дорога,
Но судьбу не может обвинить.

Чем же в прежней жизни был он грешен,
Чтоб и здесь преследовать его?
Если небом человек повержен,
Может, и подняться не дано?

Дерзость мысли и любви безумства
Неужели следует забыть?
Как тогда Всевышнее искусство
В мире сможет что-то изменить?!

Коль чреваты грезы наказаньем,
А мечта – лишь пленница судьбы,
Как нам жить с раздвоенным сознанием,
Как из жизни выйти без борьбы?!

Сердце

Быть может, страдаешь безмерно –
Ведь сердце не просто комок!
В нем чувства скопились чрезмерно, –
Вселенский, земной островок.

Вселенский мой остров щемящий,
Страдающий болью людской!
Ты снова печально летящий,
Тебе не известен покой.

Ты боль познаешь своей болью.
Надежду кому-то несешь,
И некогда жить тебе вольно,
Себя волшебством раздаешь.

В тебе состраданье – как ласка,
Соблазнами путь не ведешь,
Живешь Ты, как Принцип, без маски
И добрые песни прядешь.

К тебе, как к надежному другу,
Любой проторил бы свой путь.
Порою ты склонно к недугу,
И ложь не дает продохнуть.

Быть может, страдаешь безмерно
За все, что неладно вокруг?
Так знай, что и в жизни посменно
Проходят процессы не вдруг.

Вселенский мой остров щемящий,
Страдающий болью людской!
Ты, в хаосе мира завязший,
Навряд ли познаешь покой.

Так проходит жизнь земная:
Был младенец – стал старик.
Круг за кругом пробегая,
В жизнь земную я проник.

Так проходит жизнь земная:
Человек силен умом,
Но об этом забывая,
Сам себя он губит злом.

Так проходит жизнь земная:
В ней живя, поймет любой,
Что спасти себя от края
Можно только добротой.

Так проходит жизнь земная:
Всякий к ней давно привык –
И забыл, что есть иная,
Из которой он возник.

Круг за кругом пробегая,
Человеком став земным,
Жизнь прожить бы, не теряя
Связи с Разумом иным!

И живу я, себя побеждая,
А иначе как смог бы страдать,
И страданием радость рождая,
Сердцем страждущим страждущих знать?

Стаи душ надо мною витают
И пророчат какие-то сны.
И действительность мукою тает,
Оставляя лишь чувство вины.

Колыхнувшись волною далекой,
По пространству поплыла Судьба...
Вдруг услышал я голос с Востока –
В нем надрывно звучала мольба.

Той мольбою меня призывая,
Выкликая из суетных дней,
Души умерших, не исчезая,
Вновь вселялись в живущих людей.

Девичий плач

Если захочешь покинуть меня,
Не говори мне об этом.
Пусть не согреться уже у огня,
Не улыбнуться рассветам.

Лучше скажи, что в любой стороне,
В долгой разлуке
Слышишь печальный мой голос во сне,
Видишь зовущие руки.

Лучше скажи, что готов принести
Росные ландыши снова,
Чтобы сумели они расцвести
Песней от верного слова.

Знаю – случается наоборот,
Но о тебе вспоминая,
Буду я ждать возле наших ворот,
Все это зная.

Пусть не согреться уже у огня,
Не улыбнуться рассветам.
Если захочешь покинуть меня,
Не говори мне об этом.

Я и жил, и жить старался,
Как листва, дары носил.
В детстве с детством я расстался
И добра у всех просил.

Но не каждый – проблеск Света,
Не везде добро найдешь.

У кого душа согрета...
У кого тепло да ложь.

Жизнь совсем не аксиома,
Где бы можно вычислять –
Упадешь ли ты у дома
Или путь направишь вспять.

Мне и падать приходилось,
Приходилось и вставать.
Все, что было, – в жизнь сложилось, –
Бог не дал, что выбирать.

Я и жил, и жить старался,
И делился с другом всем...
Вызов бросить не боялся –
Жил отчаянным совсем!

В жизни есть во всем примета
Распознать и гнев и дрожь;
У кого душа согрета,
У кого тепло да ложь.



ПЕВЕЦ БАЛКАРИИ



М. Ю. Кучинаев

Кучинаев Магомет Юсупович, 21.09.1937, сел. Верхняя Балкария Черекского р-на. КБР – 2015, г. Нальчик) – балкарский писатель, журналист. Окончил среднюю школу пос. Буревестник на острове Итуруп Курильского района Сахалинской области. Трудовую деятельность начал крепильщиком шахты «Джал» в г. Кизил-Кия Киргизской ССР (1955-1957), затем – служба в армии (1957-1960). Три года работал электромонтажником на заводе «Цветметприбор» в г. Нальчике (1960-1963). В 1967 г. окончил исторический факультет КБГУ. С 1965-го по 1982 г. – журналист республиканского радио, с 1982-го по 1990 г. работал в редакции журнала «Минги Тау» («Эльбрус»), долгое время исполнял обязанности ответственного секретаря журнала «Литературная Кабардино-Балкария». Член Союза писателей РФ (1991).

Магомет Кучинаев как автор прозаических произведений стал известен со второй половины 80-х гг.: повесть «Ючюнчю батальон» (Третий батальон) была издана в 1987 г.; вторая – «Горькая дорога в рай» – появилась на страницах журнала «Литературная Кабардино-Балкария» в 1991 г. В них писатель обращается к событиям периода Великой Отечественной войны, связывая их с драматичным поворотом в судьбе балкарского народа – его депортацией. Эти трагические темы сливаются воедино в повести «Горькая дорога в рай». В ней изображен период, когда «кровавый дождь прошел во всей Балкарии». «Кровавый дождь» у автора символизирует войну. Повесть написана с большой эмоциональной силой, драматизмом, которые исходят из чувства страшной боли, связанной с утратой родины. Писатель создает галерею образов – Халимат, Батыра, Солтана, – судьбы которых раскрываются на фоне трагических потрясений.

Как писатель-историк Кучинаев не может оставаться равнодушным к прошлому своего народа, что, в свою очередь, нашло отражение в романах «Уллу Малкърар» (Большая Балкария, 1991), «Сказание об аланах» (1994) и «Кюн Балалары» (Дети солнца. 1997).

В «Большой Балкарии» пристальное внимание уделяется социальному, политическому и культурному аспектам жизни Балкарии. Произведение состоит из двух частей: «Жамауат» (Общество) и «Жол» (Дорога). В нем изображается высшее сословие Балкарии конца XIX века – шесть известных княжеских фамилий: Аланбиевы, Аскербиевы, Карабиевы, Залимхановы, Тауболатовы, Шахархановы. Судьба каждой из них составляет автономную сюжетную линию. Центральный образ романа – князь Науруз Аланбиев, которому автор симпатизирует как положительному герою. Ху-

дожественный конфликт основан не на классовых противоречиях, как это было принято в советской литературе, а на нравственных позициях главных персонажей. В этом заключается одно из достоинств этого произведения. Многие герои романа имеют своих прототипов. Так, в образе Солтан-бека Аланбиева читатель может узнать первого, широко известного на Северном Кавказе балкарского скрипача Султан-Бека Абаева. Обращаясь к прошлому, духовному опыту своего народа, Кучинаев акцентирует внимание читателей на актуальных проблемах национальной культуры на современном этапе. «Большая Балкария» насыщена богатым этнографическим материалом, свидетельствующим о глубоких знаниях автора общественной жизни и быта народа, его истории.

Роман «Схватка с волчьей стаей» частично был опубликован на страницах журнала «Литературная Кабардино-Балкария» (1993, 1996, 1997). В романе повествуется о жизни интеллигенции в 70-80-е гг. XX в., о борьбе честных людей против лжи, хамства чиновников. Главный герой – Магомет Мисиров – журналист. Служебное положение дает ему возможность знать о настоящей жизни людей, выдающих себя за народных благодетелей. Они – министры и председатели исполкомов, судьи и милицейские чины, – озабочены не служебными делами, а личными: как бы побольше урвать из государственной казны и не попасться, как легче выслужиться, как убрать с дороги соперника и т. д.

Обращаясь к современности, Кучинаев все же отдает предпочтение прошлому, загадочной и таинственной истории. «Сказание об аланах» – единственное опубликованное поэтическое произведение автора на историческую тему. К началу 80-х гг. оно уже было написано, но увидело свет в переводе на русский язык в 1994 г. «Сказание об аланах» создано в форме народного героического повествования и посвящено событиям первой половины XIII в., когда передовой отряд войск Чингисхана во главе с Субэдзем прорвался на Северный Кавказ через Дербент. Героическая борьба аланского народа с иноземными захватчиками, глубокий патриотизм и сила духа защитников родной земли – таков лейтмотив поэмы. В неравной борьбе погибают многие аланские джигиты, гибнет и хан Кушатар, земля аланов сожжена и опустошена. Жизнь, казалось бы, здесь теперь никогда не возродится. Но она сильнее смерти, а народ сильнее завоевателей: уже через несколько лет вновь оживают долины и ущелья, рождаются дети, вырастают новые джигиты.

М. Ю. Кучинаев – автор научно-популярных исследований «Жемчужины из ожерелья богини Иштар» (ЛКБ. 1996. № 1), «Древние тюрки говорили на... скифском языке?» (ЛКБ. 1997. 4), которые фактически стали предлюдием к большому историческому произведению – роману «Дети солнца» (1997). Писатель, основываясь на многочисленных исторических документах, дает свою версию, согласно которой предками балкарцев и карачаевцев были скифы и аланы. «Дети Солнца» – широкое историческое полотно о жизни и борьбе алано-скифских племен в VI в. до н. э.

БОЛЬШАЯ БАЛКАРИЯ

Главы из романа

Поздней осенью, когда горцы, завершив свои дела, находились дома, в селе, из Налъчика в Большую Балкарию приехал начальник Горского участка поручик Коршунов с двумя милиционерами. Так уж принято – чиновники, приезжающие в горы по государственным делам, останавливаются в доме старшины, и на этот раз обычай не был нарушен и Коршунов со спутниками стали гостями дома Карабиевых.

И вскоре по селениям Большой Балкарии стали разъезжать глашатаи, которые объявляли народу о том, что завтра, после выгона, у правления созывается общий сход, на сходе будет решаться какой-то очень важный вопрос, из Налъчика приехал сам начальник участка Коршунов. К ужину эта весть дошла до каждого горского дома, возбуждая любопытство и рождая разные догадки и пересуды.

На следующий день после выгона народ со всех сторон потянулся к селению Косфарты, где располагалось правление. Жизнь – штука сильная: сколько времени уже прошло с тех пор, как сказано: «Все – и князья, и уздени, и кулы – равны перед законом», ан нет, не получается – жизнь распоряжается по-своему, она по-прежнему делит народ по сословному признаку. Вот и здесь, на сходе, люди бийских фамилий кучкуются отдельно, кулы – тоже. Представители бийских домов сгруппировались по одну сторону от дверей правления. Кулы, бедняки, люди, не пользующиеся в обществе особым влиянием, вперед не лезут, стоят у ворот, позади всех. И биев, и кулов в Большой Балкарии не так уж и много. Семей кулов в каждом селе не более трех-четырех. Столько же, наверное, бедных из узденей, которых мало кто отличает от кулов. А бии живут только в трех селениях – в Косфарты, в Кюннومه и в Ышканти. Всего-то шесть бийских рода по три-четыре семьи. Весь остальной народ – уздени, вольные люди, никогда не находившиеся в личной зависимости от кого бы то ни было. Таким образом, подавляющее большинство собирающегося на сход народа – это уздени. Правда, жизнь и узденей нелегка, многие на грани бедности, но зато никто никого из них не может оскорбить, назвав кулом. И в то же время некоторые семьи из узденей настолько разбогатели и набрались сил в последнее время, что не только многим узденям, но и биям с ними не потягаться. И что удивительно – чем больше становится народу в Большой Балкарии, чем острее ощущается нехватка земли, тем быстрее набираются сил отдельные семьи, расширяются их владения, увеличивается поголовье скота. У Мусуковых, у Сабыровых, к примеру...

Вот, наконец, и из Кашхатау приехали человек двадцать, и Крым поднялся на ступени.

– Сколько человек должно было прийти из каждого села, сколько пришло – старост сел прошу доложить об этом! – крикнул он в толпу, давая этим знать, что пора начинать сход.

Старосты сел один за другим подходят к Крыму, докладывают и вновь возвращаются на свои места. Обменявшись несколькими фразами с Коршуновым, Крым вновь обратился к народу:

– На сход должны были явиться 480 человек, а пришли, считая и кашхатауцев, 360 человек. Что делать – начинать сход или еще немного подождем?

– Начинать, начинать!

– Кто хотел – тот уже пришел!

– Еще чего! Кто-то будет дрыхнуть, а я его здесь буду ждать! Начинай!

– Мы сегодня собрались по одному, но очень важному делу. Дело в том, что наместник Кавказа распорядился, чтобы впредь народ сам избирал старшину.

Тотчас же толпа оживилась, пошли разговоры, стало шумно. Крым поднял руку и, когда шум утих, продолжил:

– Но, прежде чем выбрать старшину, надо хорошенько подумать. А то у нас есть и такие – у себя дома порядок не могут навести, а лезут верховодить народом. Старшина должен быть человеком грамотным, уважаемым всем народом, из авторитетного рода, да чтоб у него было достаточно времени для занятия общественными делами.

– А где нам взять такого горца – чтоб и грамотным был, да и дома никаких дел у него не было?

– Тогда скажи прямо – изберите меня. И все!

– Змея мяту не любила – а она все у нее под носом вырастала! Так и у нас получается: сюда повернись – бий, туда повернись – бий!

Слова эти, сказанные бедняками и кулами, до Крыма не доходили, но он был недоволен шумом в задних рядах схода.

– Аланы, потише, дайте договорить! – крикнул он, и толпа притихла.

– Если кто-то хочет предложить кандидатуру на должность старшины, пусть выйдет вот сюда, на ступеньки, чтобы его слышал весь народ. А потом, когда завершится выдвижение кандидатов, проголосуем. Кто наберет больше голосов – тот и будет старшиной. Кто хочет высказаться?

Такого в Большой Балкарии еще не бывало – чтоб старшину, предводителя народ сам себе выбирал! В это трудно и поверить, но как не верить, коль все это происходит у тебя на глазах!

– И мы можем выбрать кого хотим? – громко спросил кто-то у стены. Это был Гитче из Кадыровых.

– Конечно. Кого вы считаете подходящим! – ответил Крым.

– И Гитче из Кадыровых? – послышался голос.

Это был Токлу из Карабашевых, сын Ако. В толпе засмеялись. Еще бы – кто, интересно, удержится, не засмеется, если предложить поставить во главе всей Большой Балкарии известного всем бездельника-бедняка?

– Давайте шутить будем потом, а сейчас займемся делом, – сказал Крым. – Кто хочет слова?

– Ишь ты, сволочь, – «шутить будем потом»! – не выдержал стоявший рядом с Гитче Мухажир из Курмановых из селения Зылгы, сын Солтана, такой же бедняк, как и Гитче. – Если б у тебя было хотя бы 500 овец, он наверняка так не сказал бы.

– Еще бы!

– Беднякам везде дороги нет.

На ступеньки поднялся Зулфугар из Залимхановых из селения Косфарты.

– Аланы, – довольно громко крикнул он, и сход притих. – Человек, который в настоящее время исполняет нелегкую работу старшины, – он и уважаем всеми, и на войне свое мужество показал, и дело умеет вести. Мне кажется так – если Крым останется на месте, это будет правильно, лучшего старшину нам не надо, если вы согласны! – И с этим, не спеша, Зулфугар достойно прошагал к своему месту.

– Тебе-то – конечно!

– Дай Аллах тебе столько добра, насколько Крым хороший человек!

– Волк в одежде – что, кроме него уже и человека нет в Большой Балкарии, что ли?

Так, вполголоса, говорили меж собой на задворках кулы и бедняки. Не дай бог, услышит чужой и донесет Крыму – житья не будет, хоть из села уезжай!

Раздвигая толпу, вышел Мырза из Цораевых из селения Сауту и поднялся на ступеньки.

– Аланы! – сказал он, – сперва я хочу выразить нашу глубокую благодарность всеми нами любимому царю и всем нашим начальникам, работающим под его рукой, за их разумное решение – дать народу возможность самому избрать себе старшину. Тысячу лет им жизни! Да возлюбит их Аллах так же, как и они нас, да позаботится о их благополучии так же, как и они заботятся о нашем!

Люди зашушукались, не зная, как оценить слова Мырзы – всерьез ли он говорит, или же насмехается?

– Очень правильно он сказал!

– Очень правильно, оллахий! Пусть Аллах позаботится о них точно так же, как и они заботятся о нас!

– Что он сказал? – спросил Коршунов, видя возбуждение толпы, вызванное словами Мырзы.

– Выражает благодарность царю-батюшке и правительству за столь высокое доверие и честь, оказанные народу, – пояснил Крым.

– Это хорошо, – ответил Коршунов.

– У меня нет никаких претензий к Крыму, ни к тем нашим джигитам, которые работали на этом месте и до него, – продолжал Мырза, приступая к сути. – Они работали добросовестно, в обществе пользуются уважением. Но в то же время, Аллах знает, может быть, есть люди, которые будут работать еще лучше, чем они? В правлении есть писарь, и не обязательно старшине быть грамотным. Лишь бы он был умным, уважаемым человеком, способным поднять народ ради дела, удобного всему обществу. Ахмат из Мусуковых – один из таких наших джигитов. По-моему – он будет хорошим старшиной, если вы согласны, конечно. – Сказав это и не глянув даже в сторону Крыма, Мырза сошел со ступеньки и втиснулся в толпу, пробираясь к своему месту.

А Крым тут же вспомнил, что в позапрошлом году охранник их, Карабиевых, леса ранил теленка Мырзы. И понял, что Мырза не забыл и не простил этого. Но все равно был удивлен такой храбростью Мырзы – как-никак Крым все еще старшина, да и бий, к тому же, что ни говори. А Мырза здесь, у всех на виду, расхвалив заклётого врага Карабиевых, оскорбил этим Крыма. А ведь он, Мырза, не ребенок, знает, что говорит, что делает. Ладно – Крым тоже не такой дурачок, чтобы не понимать этого, чтобы забыть, простить такое. Но сейчас, конечно, не время...

– Хочет еще кто-то выступить? – спросил он, изо всех сил стараясь говорить спокойно, чтобы скрыть ярость, закипевшую в груди.

– Если позволите, я хотел бы сказать несколько слов, – к ступенькам подошел Ахмат-хаджи из Мисировых.

Толпа тотчас же притихла. В Большой Балкарии нет человека, который не знал бы Ахмата-хаджи, главу тёре. Не только младшие, но и старшие по возрасту относятся к нему с особым уважением. Хаджи был в Мекке и в Медине, в Стамбуле и Багдаде, имеет много друзей в Дагестане и в самой Темирхан-Шуре, его знают и уважают во всех пяти ущельях Балкарии.

– Братья мои! – сказал хаджи и стало тихо-тихо. – Большая Балкария всегда славилась именами своих мудрых мужей и храбрых джигитов – мы не должны этого забывать – ни тогда, когда находимся у себя дома, ни тогда, когда находимся вдали или вблизи от родных гор, ни в большом, ни в малом деле. А дело, за которое мы сегодня взялись – не маленькое, большое дело: мы выбираем того, кто будет над всеми нами, кто будет таматой всей Большой Балкарии. За такое дело мы беремся впервые – да начнем его в добрый час!

Собравшиеся одобритительно зашумели:

– Аминь Аллах!

– Аллахым Аминь!

– Если б все это происходило в давние времена, то мы выбрали бы таматой одного из таких людей, умудренных опытом жизни, как Науруз из Аланбиевых или Хаждауют из Карабиевых, – продолжил Ахмат-хаджи. – Но сейчас времена иные. Если наш тамата не будет знать русского языка и не сможет разговаривать с начальниками – неудобно, не украсит нас и то, если он окажется неучем, не сможет ни читать, ни писать, да и стариком, как я, ему быть нельзя – надо ведь и туда поехать, и сюда успеть. А самое главное – он должен быть добрым человеком, чтоб не делил народ на князей и кулов, на богатых и бедных, а любил бы всех одинаково и всем желал бы добра. А если есть дело, которое надо сделать для своего народа, то пусть он, если надо, по этому поводу дойдет и до самых больших начальников, а может быть и до самого царя. Вот такой человек нам нужен.

– Оллахий, молодец, хаджи!

– Ничего себе! Откуда же нам взять такого человека!

– Значит, хаджи, мы должны обратиться к самому Аллаху, чтобы он воскресил Мухаммеда-пророка и послал его к нам старшиной!

Кое-где послышались и смешки. А хаджи спокойно дождался тишины и продолжил:

– Эх вы, как можете говорить так, не боясь греха – в Большой Балкарии, по-вашему, нет ни одного стоящего мужа! Да убережет нас Аллах от такого дня, когда произойдет подобное! Если хотите, я сейчас же назову вам имена десяти таких джигитов. Но я назову вам имя только одного из них, и если он, по вашему мнению, не подойдет – тогда поступайте как хотите.

– Говори, говори!

– Кто же этот святой, хаджи?

– Говори, говори, хаджи!

Наконец голоса стихли и хаджи вновь заговорил:

– Как вы не можете вспомнить Исмаила, сына Науруз-бия? Грамоту знает? Знает. С умом парень? Слава Аллаху – не обделен! Об обществе, о народе будет заботиться? Будет! Так чего же еще вам надо?

– Правильно говорит, оллахий-билляхий!

– Тейри, очень хороший человек!

– Вот он подойдет! – послышались голоса со всех концов: и оттуда, где сгруппировались бии, и с задних рядов, где стояли бедняки и кулы, и с середины толпы, состоявшей из узденей.

Хаджи вернулся на свое место.

– Кто еще хочет выступить? – спросил Крым.

– Хватит!

– До вечера, что ли, здесь болтать?! Давайте голосовать – хватит и названных! – раздались возгласы.

Крым посоветался с Коршуновым и вновь обратился к народу:

– В коридоре правления будут стоять вот эти три ящика, – он показал на деревянные ящички, вынесенные писарем, – на сходе названы имена трех человек в такой последовательности – Крым из Карабиевых, Ахмат из Мусуковых и Исмаил из Аланбиевых. Значит – тот, кто за Крыма из Карабиевых, будет бросать свой шарик в первый ящик, кто за Ахмата из Мусуковых – во второй, кто за Исмаила из Аланбиевых – тот бросает свой шарик в третий ящик. Вот, смотрите, вверху ящика есть круглое отверстие – вот сюда будете бросать, – и Крым, приподняв ящичек, показал собравшимся круглое отверстие на крышке. – Писарь правления будет в коридоре – если все же кто-то забудет, где чей ящик, можете спросить у него. Итак: первый ящик – это Крым, второй – это Ахмат, третий – это Исмаил. В чьем ящике окажется больше шариков – тот и будет старшиной. Кандидаты в старшины – Крым из Карабиевых, Ахмат из Мусуковых, Исмаил из Аланбиевых участвовать в выборах не имеют права. Все понятно?

– Понятно!

– Что там понимать-то!

– А что это за шары, интересно?

– Тогда заходите по одному и начинайте голосование, – с этим Крым отошел от дверей в сторону, уступая дорогу.

Люди по одному подходили, у входа каждому из них писарь Василий вручал круглый гладкий камушек из мешочка, и они проходили в коридор.

Когда все прошли через коридор в задний двор, из правления вытащили ящики. Сперва вскрыли ящик Крыма, пересчитали шары. И тотчас же лицо Крыма переменялось – в его ящике оказалось всего 89 шаров. А в ящике Ахмата не было даже и столько. Ящик Исмаила нечего было теперь и вскрывать – и так ясно, что старшиной впредь будет он. Но ящик все-таки вскрыли, шары тоже пересчитали – их оказалось 219. Люди, столпившиеся вокруг Науруза и Исмаила, поздравляли их. А в это время под диктовку Коршунова Василий уже писал протокол схода. Потом, призвав всех соблюдать тишину, прочитал протокол. Из него явствовало, что жители Балкарского общества на своем сходе избрали старшиной Исмаила из Аланбиевых, а его помощником – Крыма из Карабиевых.

Оживленно обсуждая это важное событие в жизни общества, люди расходились группами. В правлении остались только Коршунов, Исмаил, Крым и Василий – надо было, как и положено, официально, с участием начальника участка, передать вновь избранному старшине документы и имущество правления.

Когда со всеми официальными делами было покончено, Крым и Исмаил стали приглашать Коршунова домой в гости, с тем, чтобы он день-два отдохнул в Балкарии, но тот заупрямился, заявив, что сегодня

же должен непременно вернуться в Нальчик. Пришлось воспользоваться гостеприимством Залимхановых, чтобы покормить гостей перед дальней дорогой. Крым и Исмаил, проводив Коршунова и его спутников до окраины самого нижнего села – Зылгы, вместе возвращались домой. На всем протяжении пути до Кюнньюма, ехали, переговариваясь о всяких житейских мелочах, ни разу не коснувшись того, что случилось сегодня.

– Заходи, Крым, будешь гостем! – пригласил Исмаил, когда наконец доехали до дома Аланбиевых.

– Спасибо! Устал я немного, поеду отдохну, – и с этим, даже не поприветствовав для приличия коня и не попрощавшись как следует, он уехал.

А дома, чтобы как-то отметить новое событие в жизни семьи, готовились к небольшому курманлыку – зарезали барашка. И Ахмат-хаджи был здесь.

Уже вечером, собираясь домой, Ахмат-хаджи еще раз поздравил Исмаила:

– Да в добрый день начинай свою работу, Исмаил. Не зазнавайся, не обижай бедных и слабых, если можешь, помоги – это сууап¹. Старайся делать добро своему народу. Насколько ты будешь с хорошими намерениями относиться к народу, настолько же и народ будет тебя уважать. Достаток, богатство – это как вода, проходит и уходит. Если уходит, то никогда уже не приходит – так это честь, достоинство.

– Спасибо, хаджи, за добро напутствие. Нежданно-негаданно взвалил ты мне на плечи нелегкую ношу, да что теперь поделаешь, – ответил Исмаил, не в упрек, конечно, а так.

– Эту ношу Аланбиевым нести приходится не впервые, так что, если и ты из Аланбиевых – терпи! – и с этим хаджи направился к двери.

Гитче из Кадыровых, парень из селения Ышканти, вернулся домой со схода в недобром духе. Он был зол не столько на Крыма, сколько на Токлу из Карабашевых, что крикнул: «Даже и Гитче из Кадыровых?» – «Скотина, у самого ума на большее, чем только жрать, ни на что не хватает, а все туда же – хочет кого-то поддеть! Жаль, что тогда в Ирци-Башы во время заварухи не дал тебе как следует по морде и не рассыпал твои поганые кривые зубы», – думал всю дорогу до дому Гитче.

Это правда – Гитче и рослый, и сильный джигит, но если б Токлу хоть разок его стукнул как следует, он завертелся бы как юла. Но об этом Гитче сейчас и не думал. И утром он уходил на сход, не позавтракав, и сейчас, придя со схода, не заметил никакой суеты, что бы говорило о том, что кто-то собирается его кормить. Вот это-то и вывело его из себя.

¹ Сууап – богоугодное дело, которое, естественно, учитывается в день страшного суда.

– Ты почему до сих пор не развела огонь?² – накинулся он на пятнадцатилетнюю сестренку.

– Мать сказала, что еду приготовим, когда ты вернешься со схода. Вот тебя и ждем, – нашлась Таслимаат.

– Да чтоб сгорел ваш дом! Чего теперь-то ждешь? Готовь!

– Чего кричать-то? Сейчас быстро приготовлю.

– С утра во рту ни крошки – разве не знаете?

Таслимаат, не пускаясь в дальнейшие пререкания, занялась своим делом – разгребла золу в очаге, сгребла в серединку угольки, положила на них растопку, и пока разгоралось, ополоснув чугунок, налила в него немного воды и повесила на цепь.

– А где мать? – спросил Гитче, когда немного поостыл.

– К Мариам пошла, отнесла ткань.

Мать Гитче Лаулан пряла шерсть, ткала тем, у кого много скота и которые сами не успевали перерабатывать шерсть. Не так давно она взяла у Мариам, жены Османа Сабырова из Курнаята, два пуда шерсти и в последние дни занималась ее переработкой – чесала, пряла, ткала. Наверное, наткала уже приличное количество чепкена и решила отнести. Несмотря на то, что Гитче взрослый мужчина – ему уже под тридцать – дом-то все равно держится заботами Лаулан и Таслимаат. Это они денно и ночью моют шерсть, прядут, ткут и зарабатывают и на еду, и на одежду, и на все, что нужно для дома, а от Гитче никакой особой пользы и нет. Правда, когда в селе забот невпроворот – во время сенокоса, стрижки, хасафа – и Гитче, бывает, подрядится к кому-нибудь на день-другой и кое-что принесет в дом, но большую часть времени проводит в праздной суете – на ныгыше в бесполезных спорах, на вечеринках, где он и не всегда-то желанный гость, да на изеуах, куда его и не приглашали. «Для своего дома и копну сена не заготовит, а для других и скирду не прочь поставить» – так говорят о таких, как Гитче, никак не желающих всерьез впрягаться в ярмо собственных домашних забот, а вечно оказывающихся там, где есть с кем посидеть, побалагурить, поесть-попить. Не беда, коль придется даже и поработать, если угодишь, к примеру, на изеу. Или ты пошел к дружку, а он в это время навес перекраивает, – как не помочь?

Не выдержит Лаулан, скажет иногда: «Сынок, ты бы хоть баз немного починил, а то ведь протекает, будто и крыши нет», или: «Может, навес какой-нибудь соорудишь, чтоб сено под дождем не гнило», а он всегда в ответ: «Подумаешь, скот – малое дитя, что ли, и капля на него не должна упасть!» Или: «Ладно, ладно, сделаю, не приставай!», а сам ничего и не делает. Когда был жив отец, он его еще немного слушался, а с тех пор,

² Ты почему до сих пор не развела огонь? – это, по существу означает: «Ты почему до сих пор не собираешься готовить?», так как разводят огонь, в основном, чтобы готовить еду.

как в доме сам стал хозяином и единственным мужчиной, все делает по своему уму-разумению. В первое время после смерти мужа Лаулан еще старалась повлиять на сына, уговаривала его, не будем, мол, лениться, подтянемся, постараемся жить как и все, вырвемся из нищеты, но потом, поняв, что от сына толку не будет, махнула рукой, и взвалила всю тяжесть домашних забот на свои плечи. А в позапрошлом году Гитче не захотел обрабатывать даже и жалкий клочок своей пахотной земли, сдал в аренду. В тот год и пополнился золотой запас балкарского фольклора поговоркой «Как Гитче свою землю в аренду сдавал». Загнанный в угол издевками да насмешками, в этом году Гитче сам вспахал свой участок, посадил картошку, собрал около сорока мер и засыпал в погреб. И с тех пор хвастался этим, не давал ни матери, ни сестренке и рта раскрыть. Лишь только в доме разговор касался бедственного положения семьи, Гитче непременно говорил: «У меня во дворе картошки полон погреб, дойная корова, бараны! Чем я хуже других?» А бараны его – дюжина паршивых овец, и половина из них – хромые ягнята. Было бы любопытно посмотреть, как далеко он уехал бы на своих овцах, если бы Лаулан и Таслимат день и ночь не пряли, чесали и ткали! Но Гитче об этом и не думает – он вполне уверен, что дом держится на нем, его усердии.

Вскоре вернулась и Лаулан. Хотя она и вплотную приблизилась к шестидесяти годам, Лаулан была необычно энергичной, неустанной женщиной. Ежедневно от зари до зари работает, не зная отдыха, но никогда не скажет, что устала, что больше нет сил. Вот уже несколько лет, в большой тайне и от сына, и от дочери, добавляя копейку к копейке, копит деньги Лаулан для калыма. И в этом году вместе с чабанами из Загорья, как всегда, пришел и Харлампий с товарами, вот сегодня и сдала ему Лаулан двадцать аршинов чепкена высшего качества и сорок аршинов из грубой шерсти. Купила сыну на штаны и рубашку добротного коричневого вельвета, атласа для свадебного платья дочери и даже себе на платья отрез байки, да еще осталось у нее на руках тридцать рублей с полтиной.

Она была довольна и редкую гостью в этом доме – радость – привела сегодня с собой. И все забылось – и долгие дни, когда с утра до ночи сидишь за ткацким станком, и тяжесть корзин, наполненных мытой шерстью, и боль, когда, задремав или же забывшись от нелегких дум, бьешь по иголкам чесалки рукой.

И даже Гитче просиял, увидев вельвет, из которого скоро сошьют ему хорошую одежду. А Таслимат так и танцует от радости, целует мать, то и дело примеривает на себе ярко-лиловый атлас. «Черт бы побрал эту красоту – все ее любят!» – говорят. Так и добро, богатство. Только минутой назад от злости Гитче и света белого не видел, а теперь и он смягчился, по-человечески обратился к сестре:

– Девушка, может, подашь, если еда готова: тейри, с голоду умираем.

Таслимат сняла чугунок с очага, переложила как на большую деревянную чашку, положила на стол перед матерью и братом, подала им айран в небольших деревянных же чашках, потом налила айран в чугунок, где оставила для себя немного кака, и пристроилась у очага, присев на маленький стульчик.

– Сколько раз тебе говорить – не скреби дно чугунка! – даже пошутит Гитче.

Если в день свадьбы пойдет дождь, говорят – это оттого, что невеста в девичестве часто скребла чугунок во время еды, как сейчас Таслимат, что само собой разумеется, не назовешь благовоспитанным поступком.

– Да пусть хоть потоп! – бойко ответила Таслимат и тоже в шутку, уплетая как, стала нарочно чаще скрести по дну чугунка.

После обеда, зная, что сын все равно каким-нибудь делом дома не займется, и не желая портить хорошее настроение, Лаулан сказала:

– Сходил бы к кому-нибудь из товарищей, что ж дома один будешь скучать, слоняясь из угла в угол.

– Говорят, Махмут из коша пришел, – схожу к ним.

– Иди, сынок, иди. И потом, клянусь Аллахом, скоро станешь пошмищем для всех – до каких это пор ты будешь ходить в женихах? У твоих сверстников уже по трое, четверо ребят растут. Женись, заживи, как все, полной семьей, нормальным домом.

– Оставь, мам. Что-то на калым накопить – надо идти к кому-то ба-трачить, этого еще не хватало!

– Калым – это не твоя забота. Об этом пусть болит голова у твоих родственников, у рода твоего, племени. Твое дело – дай нам знать, коль есть у тебя девушка на примете.

– Держи рот пошире – позаботятся о тебе твои родственники! Им бы о себе позаботиться.

– Ну, как хочешь, – махнула рукой Лаулан.

И до этого мать не раз напоминала Гитче о том же – что ему пора бы уж и жениться, да он на это внимания не обращал. А чаще всего начинал злиться, отвечал какой-нибудь грубостью, после чего мать не заговаривала на эту тему недели две-три. Еще бы не злиться – о какой женитьбе горца может идти речь, коли у него нет ни коня, ни волов, ни приличного количества овец, денег, наконец, чтобы уплатить калым? Если даже и выгрести со двора всю живность – и корову, и овец – не справить ему свадьбу, как полагается. Хорошо, допустим, хоть и так, приведи он жену домой, а жить-то дальше как? И что удивительно, все это прекрасно понимая, мать все же постоянно пристаёт – женись да женись!

Так размышлял Гитче, направляясь к дому Хаджи из Токлуевых, к своему товарищу, сыну Хаджи Махмуту. И то правда – если бы в свое время Гитче тоже, как и многие другие джигиты из бедных домов, нанялся бы чабановать, конечно, к сегодняшнему дню на калым накопил

бы, но тогда гордость не позволила ему. Как это, мол, так – я, уздень, пойду в батраки, как кул. А теперь уже поздно. Если еще лет пять провести в батраках и состариться недолго! Да и провести аж целых пять лет на коше – на столько лет обычно нанимаются чабановать – в дождь и в стужу, не зная покоя ни днем ни ночью, ходить за овцами, недоедать, недосыпать – тоже нешуточное дело! Да пропади она пропадом эта самая жена, ради которой надо пройти через этот ад!

Так размышляя, шел Гитче, и как только мелькнуло в голове слово «жена», он вспомнил младшую дочь Хаджи – Шахарзан. Так посмотришь – и не скажешь, что красавица, но в ней было что-то притягательное, таинственно-женское, что при взгляде на нее чувствовалось сразу. Может быть, эта таинственная сила была в ее больших желто-кошачьих глазах, а, может быть, в густых каштановых косах? Но огорчало Гитче то, что она унаследовала от отца неуловимое, но что-то странное: никогда ни по какому случаю не поторопится, не возмутится, не испугается, словно ни к чему не чувствительна. Словно все, что ни делала она, делала по чьему-то приказу издалека; выслушает приказ – шагнет, выслушает приказ – ответит... И Хаджи сам, и его домочадцы были людьми здоровыми, работы не чурались, но об одном только Хаджи сколько рассказней, шуток ходят по ущелью! Если кто-то грузит вязанки дров на ишака и напарник зазеваётся, то он наверняка прикрикнет: «Да что ты стоишь, как Хаджи, разинув рот – подай сюда конец веревки!» Или весной мать, оберегая нерадивого сына от упреков отца или братьев, скажет: «Вот подождите – возьмется он тоже за дело всерьез, как и Хаджи, тогда посмотрим!»

Но все это, конечно, ерунда – в Большой Балкарии трудно найти не только род или дом, о котором по тому или иному поводу не ходили шуточки-прибаутки, не зубоскалили, но даже и человека, считающегося уже взрослым. Старшая сестра Шахарзан Саният была еще не замужем – вот что было препятствием. Что мало толку свататься к девушке, когда ее старшая сестра еще не замужем, – это в Балкарии знает и ишак! А ждать, пока Саният выйдет замуж – так и до Судного дня можно прождать! Кто ее возьмет, эту Княжну-Лопату³ – ни видом, ни чем иным привлечь она никого не может?

Гитче злился на Саният, словно он и Шахарзан уже давным-давно сгорают от любви друг к другу, а Саният стала на их пути помехой. А на самом-то деле до сегодняшнего дня Гитче так о Шахарзан и не думал. Да и Саният ему раньше не казалась такой уродиной. Да она и не была никакой уродиной, только была чуть-чуть выше ростом и немного изящней телом, чем Шахарзан – вот и все. Ведь для кое-каких мужчин если девушка не пышет телесами, словно поднявшееся тесто, то уже и некрасива. Правда, когда Творец создавал фигуру Саният, видимо, его чем-то отвлекли и он забыл снять чуточку материала с переносицы, отчего она

немного напоминала сову, а так – девушка как девушка. А мастерица-то какая: и шить, и вязать, и ткать. И нравом кротка. Что и говорить: Токлуевы всем известны своим покладистым характером. Не без того, конечно, что появляются, хоть и изредка, и в их роду не в ту стезжку-дорожку ступающие, но, как говорится, село не село и род не род, коль в нем нет дурака.

Махмут, чинивший у очага свои чабыры⁴, услышав лай собаки, вышел во двор. Увидев за перекладинами ворот Гитче, сказал приветливо:

– Что ты стоишь, алан, на улице, заходи, будь гостем! – Потом, обернувшись к собаке, которая лаяла не переставая, прикрикнул: – Вон отсюда! Ишь ты – разошлась!

Собака, все еще продолжая рычать и косо глядя на Гитче, пошла в свою конуру, волоча цепь.

– Прослышал, что ты спустился с коша, вот и пришел поболтать с тобой, – сказал Гитче, заходя во двор и здороваясь с Махмутом.

– Заходи, заходи! Оллахий, я тоже умираю со скуки, и от нечего делать чабыры принялся подлатать.

– Как дела, много у тебя, наверное, теперь овец?

– Тейри, и не скажешь, что их становится много.

– Когда заканчивается твой срок?

– Будущей весной.

– Приличное количество овец, наверное, пригонишь домой от Сабыровых?

– Откуда там! Заходи, заходи домой.

Самого Хаджи не было дома, он на коше, с отарой. Шахарзан сидела за ткацким станком, Жулдуз пряла, а жена Махмута Жумарук своего старшего – восьмилетнего озорника Аскера, схватив за плечо, лупила по попке. Отчаянные вопли братца поддерживали дружным плачем две его сестренки, и от всего этого шума и гама, казалось, вот-вот приподнимется крыша дома.

– Аланы, что это с вами случилось за эту минуту? – с удивлением спросил Махмут.

– А то случилось, что ему захотелось трепки! – все еще не остывая, ответила Жумарук. – Пристал к девочкам где, мол, моя юла – откуда им

³ Княжна-Лопата – в Балкарии существует такое поверье: во время засухи детям и подросткам следует нарядить лопату разным тряпьем, сделать чучело, похожее на женщину и ходить по улицам и дворам, взывая: «Княжне-Лопате нужен дождь! Княжне-Лопате нужен дождь!» Люди должны одаривать детей (слуг Княжны-Лопаты) и поливать чучело и детей водой. Тогда пойдет дождь. Лопата здесь, видимо, символизирует богиню земледелия, которая просит дождя от высшего божества.

⁴ Чабыры – вид мягкой обуви из бычьей кожи.

это знать? – а потом, разозлившись, бросил их куклы в огонь и сжег!

– Да чтобы семя ваше не проросло, негодные! А ну – сейчас же замолчите! – прикрикнула на детей жена Хаджи Жулдуз, заметив Гитче и, конечно, чувствуя неловкость.

– Сгинь с глаз моих долой! – прикрикнула Жумарук, вышвыривая Аскера за дверь. Видимо, это несколько удовлетворило девочек – те тотчас же притихли.

Женщины встали, чтобы поприветствовать гостя, и вновь занялись каждой своим делом. Вскоре вошла в дом и Саният с полными ведрами воды.

– Здравствуй, Гитче! – поздоровалась она, пристраивая ведра у входа.

Здороваясь с Саният, Гитче глянул на нее и ему показалось, что та слегка покраснела. Неужели это из-за меня, подумалось ему, но вспомнив, что она только что несла полные ведра, не придавал этому значения и вновь стал беседовать с Махмутом.

А Саният зарделась и в самом деле оттого, что так неожиданно столкнулась с Гитче, а вовсе не от тяжести ведер – она уже довольно давно тайно любила его, хотя об этом никто и не догадывался. Еще бы – она и от себя-то скрывала свое чувство в глубине души, не только от других. И у нее на это, как ей казалось, были веские причины. Еще в позапрошлом году к ней сватался один вдовец из селения Зылгы, у которого после смерти жены дома осталось двое детей без присмотра. От морального удара, нанесенного этим сватовством, она до сих пор никак не может оправиться – она уже старая дева, никто из неженатых джигитов теперь на нее и смотреть не станет. Все говорят, что Гитче – никчемный бездельник и повеса, но сердце Саният знает: попадись ему хорошая, работающая жена, и он, как все, займется домом, хозяйством, семьей; чем он хуже других – и строен, и красив, и телом не хил. А она кто? Старая дева, к которой теперь сватаются только вдовцы зрелых лет. И что толку с того, что она любит Гитче – ему-то что с этого? За что он может ее полюбить? Не за что. Уверенность в этом придушила ее любовь, загнала в самый темный уголок ее души, и она, ее любовь, чахла там, словно головня, выхваченная из костра, который уже никому не нужен, и выброшенная прочь...

– Как поживает Лаулан, чем занимается, – спросила Жулдуз. Конечно, не оттого, что она так уж интересовалась как там живет-поживает Лаулан да чем она занимается, а просто потому, что гостю, если даже это и бездельник Гитче, следует уделить хоть какое-то внимание, обменяться несколькими фразами, положенными в таких случаях, а иначе не долго прослыть и нелюдимыми, и нетактичными.

– Слава Аллаху, жива-здорова, работает – моет шерсть, расчесывает, прядет, ткет.

– Что же делать – надо работать. Если бездельничать, да только просить: «Аллах, дай! Аллах дай!» – тоже толку мало, он тоже просто так ничего не дает.

Жулдуз все это сказала просто к слову и ни о ком при этом конкретно не думала. Но Гитче понял так, что эти слова были сказаны именно в его адрес, а потому и ответил с нотками обиды в голосе:

– Тейри, Жулдуз, сколько б мы ни старались, он почему-то на нас особого внимания не обращает. Все, что он дает – дает богатым, а нам только крохи перепадают. Как говорится – дождь и то любит литься в озеро.

– Великий Аллах всех людей одинаковыми создал – с двумя руками, с двумя ногами, с одним станом, с одной головой. А все остальное – как вы там жить будете да поживать – это, сказал, в ваших руках.

– Я не видел, чтобы очень уж обливался потом Зулфугар из Залимхановых, а поди ж ты – у них полным-полно добра и скота. И у Карабиевых тоже.

– На то воля великого Аллаха, нельзя из-за этого роптать.

– Раз нельзя – оставим, Жулдуз. И по поводу нашей судьбы, он, наверное, уже давным-давно определил свою волю, так что сколько б мы ни старались – от судьбы не уйдем. Тогда зачем же так отчаянно барахтаться? Живи как живется – полегоньку-потихоньку.

– Может, и так – кто уйдет от судьбы, предопределенной Аллахом, – не стала спорить Жулдуз, видимо решив, что с этим повесой не стоит говорить всерьез о чем-либо.

– Тейри, не знаю – далеко ли уедешь, полагаясь на судьбу, ничего не деля, ничего не предпринимая, – сказал Махмут, усмехнувшись.

– Скажите коротко, как нарты⁵: «Не работающий – не поест, не поевший – не возрадуется» – вот и все, – вмешалась в разговор Саният.

«Вот вы работаете, работаете, а далеко ли уехали?» – хотелось спросить Гитче, да только нельзя было этого делать.

Видно, хозяева дома поняли, что их слова, сказанные вовсе без всякого умысла, в какой-то степени воспринимаются гостем как камушки, брошенные в его огород, а потому в дальнейшей беседе этой темы не касались – говорили о том о сем: о парнях и о девушках, о происшествиях в том или ином селении, и – в особенности – о том, как сегодня вместо Крыма старшиной Большой Балкарии стал Исмаил.

Так и сидели до вечера, беседовали, в то же время каждый занимался своим делом, пока Саният не начала хлопотать об ужине. Гитче, поняв, что слишком уж засиделся, поднялся, собираясь уходить, но Жулдуз и Махмут так усердно его уговаривали остаться отужинать, что ему

⁵ Как нарты – у балкарцев пословицы и поговорки называются «нартскими словами», т.е. словами предков – нартов.

пришлось вновь сесть на свое место. Да и поступить по-иному он уже не мог – в горах считается признаком невоспитанности, если гость уходит в тот момент, когда начинаются приготовления к трапезе. Если хотел уйти, надо было это сделать пораньше, когда об ужине и намека не было, а теперь Саният уже хлопочет у очага, уйдешь – ясное дело, скажут: «А что от него ждать, невоспитанного, небось и обычаев-то наших не знает!» – «До чего же у нас глупые обычаи!» – подумал Гитче, вспомнив, что и после трапезы гостю не следует тотчас же удалиться, так как это тоже неприлично. Такого посчитают вовсе тупым животным – набил, мол, брюхо и уходит. Есть даже присловье: «Саутулинец наелся – и домой». Видимо, жители селения Сауту, будучи в гостях в других селениях, не всегда строго соблюдали это правило горского этикета, и вот на тебе – угодили в фольклор! И это несмотря на то, что Сауту – одно из больших и авторитетных сел Большой Балкарии.

Картофельный суп с мясом, что Махмут привез из коша, оказался таким вкусным, что Гитче не удержался, хотя еще и не проголодался, и съел целую чашку, наравне с Махмутом.

– Оллахий, с головой в казан ползет человек – настолько вкусным оказался твой суп! Спасибо, да будешь ты богатой и уважаемой! – поблагодарил, как и принято, Гитче Саният.

– На здоровье! Давайте, еще понемногу добавлю, а то под руку попались маленькие чашки, вы, мужчины, не наелись, наверное, – сказала Саният.

– Оллахий, не смог бы отказаться, но ведь говорят, что нельзя лишнее есть после того, как наелся – это будет харам ⁶.

– Сейчас налью.

– Нет, нет! Спасибо, Саният!

– Два-три половника супа – это разве много для взрослого мужчины?

В горских домах детей всегда стараются укладывать спать там, где теплее – где очаг, где огонь, где готовят пищу. Вот и Жумарук начала укладывать мальчишек, которых после сытного ужина разморило и потянуло ко сну. Гитче встал.

– Да, я совсем допоздна засиделся – извините, пожалуйста. Пойду. Спокойной ночи!

– Да еще совсем не поздно, куры – и те только что забрались в курятник, – сказал Махмут, как и следует хозяину, всячески стараясь успокоить гостя, убедить его в том, что тот ничего предосудительного не совершил.

Он провел Гитче до калитки, прощаясь, поболтал с ним и там две-

⁶ Харам – пища, не дозволенная в употребление мусульманину.

три минуты, и лишь потом вернулся домой.

Жулдуз весь вечер терпеливо пряла, но вот и она начала сдаваться: прикурнет – и срывается веретено. Незлобно обругав веретено за непослушание, она вновь берется за свое. И опять на миг сомкнет глаза – и вновь обрывается нить и веретено с глухим стуком падает на земляной пол. Наконец она не выдерживает и «обрушивает свой гнев» на Махмута:

– Ну, чего сидишь – видишь я спать хочу. Иди в свою комнату!

На самом-то деле это вовсе и не гнев, а замаскированное разрешение сыну удалиться к себе...

– Мужчина, не кажется ли тебе, что Гитче имеет какие-то виды на Саният? – спросила Жумарук у мужа, когда они, наконец, оказались одни.

А через два-три дня – бог весть кто это распространил? – по Мухолу-селу пошли слухи о том, что Гитче из Кадыровых добывается руки старшей дочери Хаджи из Токлуевых – Саният.

Гитче из Кадыровых и Махмут, сын Хаджи из Токлуевых, были хорошими товарищами, а потому никто раньше и не обращал внимания на то, когда и часто ли заходит Гитче в дом Хаджи. Но после того как пошли разговоры о том, что Гитче приударяет за Саният, ни один его визит к Токлуевым не оставался без внимания окрестных кумушек, которые, завидев его, начинали таинственно перешептываться между собой. Вскоре уже все село с нетерпением ожидало дня, когда объявят о помолвке Гитче и Саният.

Но прошла осень, настала уже и зима, а из Ышканти в Мухол сваты так и не приходили, а сам Гитче, как и прежде, частенько навещался в дом Хаджи; и тогда пошли разные пересуды: одни говорили, что Саният дала Гитче от ворот поворот, а другие наоборот – это Гитче разонравилась девушка, а ходит он просто так, по старой привычке, к своему другу Махмуту. Видимо, все эти слухи никак не могли пробраться ни в дом Хаджи в Мухоле, ни в дом Гитче в Ышканти, так как отношения между их обитателями ничуть не изменились – Гитче, как и раньше, раза два в месяц заходил в дом Хаджи, сидел, подолгу беседовал. И с каждым его приходом женщины в доме Хаджи все больше и больше утверждались во мнении, что Гитче ходит к ним именно из-за Саният. В соответствии с этим несколько начало меняться и их поведение по отношению к частому гостю. Теперь, к примеру, когда приходил Гитче, Саният, как обычно, не торчала весь вечер, как это было раньше, у него перед глазами, а уходила в другую комнату, найдя какой-то подходящий предлог, или же потихоньку – незаметно. Так положено поступать девушке, если в ее отчий дом приходит молодой человек, намеревающийся

добиваться ее руки. Суровые горские обычаи не дают особой возможности джигитам и девушкам подолгу и часто беседовать друг с другом, ходить на уединенные любовные свидания, чтобы полнее узнать свои сердечные чувства. Не так уж часто случающиеся свадьбы, курманлыки, вечеринки – вот обычные места, где впервые загораются искорки любви между ними. Удивительно, но если всем стало ясно, что джигит действительно всерьез намерен добиваться руки девушки, то слишком уж строгие горские обычаи сразу смягчаются, как бы говоря: «Ну, раз у вас это серьезно – то особых препятствия чинить вам не станем, но смотрите – и вы не вздумайте переходить границы благопристойности!» Так, к примеру, джигит раз-два в месяц, и даже чаще, может свободно посещать дом своей избранницы, если, конечно, в этом доме к нему относятся благосклонно. Просто так, как гость. А если в доме есть джигит, ему ровесник – так и вовсе все отлично! К товарищу, к дружку своему ходит – что тут такого? Хотя в доме девушки все прекрасно могут и знать, из-за чего зачастил к ним в гости этот джигит. К тому же, если у девушки есть еще и младшая сестра – то и она становится помощницей, доверенным лицом, через которую джигит может узнать почти все, что ему нужно – и что думает о нем сестра, и как к нему относятся отец, мать, брат, другие родственники. А при крайней надобности – даже устроить свидание у какой-нибудь подружки, где в это время дома из взрослых может никого не оказаться. Но к этой возможности обычно джигиты не прибегают, так как такое уединенное свидание, прознай об этом болтушки, может навредить репутации девушки. И джигит должен из кожи вон лезть, чтобы всячески угодить будущей своей свояченице – будучи в гостях, обращает на нее особое внимание, при случае какого-либо спора, непременно должен держать ее сторону, делать ей мелкие подарки. И, будучи в гостях, чем больше джигит уделяет внимания ей, а не своей избраннице, тем более воспитанным он считается.

На то, что Гитче и не пытается наедине поговорить с Саният – никто и внимания не обращал: а о чем им и говорить-то наедине – впервые видят, что ли, или не знают друг друга? И он не мальчишка, и Саният не шестнадцать лет – к лицу ли им разыгрывать пылкую юношескую любовь, искать встреч наедине? Так примерно думали в доме Хаджи и ничего необычного не усматривали в поведении Гитче. И, в конце концов, Саният, если б не хотела выходить замуж за Гитче, уж давно бы могла заявить об этом, точно так же и Гитче – если б он не имел виды на Саният, не ходил бы. А на то, что он часто беседует с Шахарзан, случается, остается с ней и наедине, никто внимания не обратил – это же обычное дело, джигит обхаживает младшую сестру своей избранницы, дает ей какие-то поручения, о чем-то просит. Обычное дело.

Все так. Но вот поближе к весне однажды утром по Мухолу, а потом и по всей Большой Балкарии поползли слухи – младшая дочь Хаджи

из Токлуевых Шахарзан убежала к Гитче из Кадыровых, который сватался к ее старшей сестре Саняйт. Убежала, это значит – она сама способствовала тому, чтоб ее «выкрали». Такой поступок в горах считался неприличным, и даже самые отъявленные сплетницы не осмеливались распускать свои язычки до тех пор, пока не услышат эту новость из нескольких уст и окончательно не убедятся в ее правдивости. А когда все стало ясно, что так и случилось, никто не стал сдерживаться – все были возмущены. И в особенности женщины. Они проклинали Шахарзан на все лады:

– Да, чтоб ты в землю вошла, а не в дом мужа!

– Да проживи ты всю жизнь в беде и в позоре, раз нас всех так опозорила!

– Да проклянет Аллах тебя и растопчет в пыль, раз ты прокляла и растоптала все наши прекрасные обычаи!

А мужчины высказывались в основном по адресу Гитче:

– Ишак – он и есть ишак!

– Оллахий, надо собрать сход и выгнать его из ущелья!

– Давайте, ради Аллаха, пойдем сегодня ночью и до смерти отдубасим его!

– Оллахий, это было бы совершенно правильно!

Все – мужчины и женщины, старики и старухи, и даже дети проклинали Гитче и Шахарзан. Как можно так, говорили все в один голос, запросто растоптать обычаи своего народа, ходить в дом, просить руки старшей дочери этого дома, а потом поступить по-скотски – обмануть и соблазнить младшую дочь, толкнуть ее на такой нехороший поступок? Конечно, в жизни случается всякое. Бывает, сватаются к младшей дочери, когда старшая еще не замужем. Но ведь это делается открыто и лишь в крайних случаях – когда, скажем, у сестер большая разница в возрасте. Да и в этом случае сама старшая сестра, как правило, категорически требует, чтобы из-за нее не ломали судьбу ее сестры. И все это делается с самого начала открыто, исходя из сложившихся обстоятельств. А тут – поворовски, бессовестно: подав надежду старшей, соблазнили младшую.

Вот почему с поздравлениями к Кадыровым, кроме очень близких родственников, никто и не думал пойти. Да и те приходили не как на радость и веселье, а словно потревоженные неприятной вестью, дабы узнать, правда ли то, что говорят. Да в сущности так и было: радость не светилась в их глазах, как обычно в таких случаях, не было слышно ни смеха, ни шуток, да особо никто и не засиживался. К тому же все село в тревоге ожидало приезда Махмута из коша – как бы он что-нибудь не натворил. Для этого, чтобы на первых порах, пока он не поостынет, удерживать его от опрометчивого шага, и дежурили постоянно в доме Хаджи двое крепких джигитов из рода Токлуевых. А Махмут, словно знал об этом, не заходя домой, направился прямо к Кадыровым. Увидев неужи-

данно появившегося Махмута во дворе, двое-трое джигитов бросились ему навстречу:

- Заходи, заходи, Махмут, будь гостем!
- Салам алейкум, Махмут!

Но Махмут, не отвечая на их приветствия, ринулся в дом, не обращая внимания на всполошившуюся жалкую кучку стариков и старух в большой передней комнате, прямиков прошел во внутреннюю, где и должна быть невестка, одним рывком сорвал и выбросил в сторону занавеску в углу.

– Кто этот дурак?! – вскричала девушка-дигиза⁷, вскакивая, но увидев Махмута, осеклась и, с ужасом закрыв лицо руками, отчаянно закричала: – О, боже мой, что ты делаешь, Махмут?!

А Шахарзан, которая, видимо, предчувствовала, что брат рано или поздно все равно натворит что-то ужасное, и давно смирилась с этим, теперь стояла в своем углу, белая как полотно, опустив голову, покорно ожидая своей участи.

– Ты сама пришла или тебя насильно украли? – звенящим от напряжения голосом спросил Махмут, изо всех сил стараясь не повышать голоса.

Вбежавшие вслед за ним парни в это время застыли у порога, не зная что делать.

– Подойдите к нему, как бы он что-нибудь не натворил! – отчаянно зашептал джигитам один из стариков из-за их спины.

Джигиты стали приближаться, увещевая:

- Ради Аллаха, Махмут, не делай так!
- Эх ты, Махмут, зачем же ты так опрометчиво поступаешь? Подожди, ради Аллаха!

Махмут, даже не глянув в их сторону, строго сказал:

- Не ваше это дело! Стойте на месте!

Джигиты остановились – они тоже боялись осложнения дела, если начнут действовать решительно, сгоряча.

– Ты слышишь меня? Я у тебя спрашиваю – крикнул Махмут, резко дернув сестру за рукав.

– Я виновата во всем – убей меня, если хочешь! – дрожащим голосом еле проговорила Шахарзан.

– Ты не на супружеской постели, а в земле должна лежать! Сейчас я распорю это твое подлое сердце! – вскрикнул Махмут, рывком выхватывая кинжал. Шахарзан бросилась к брату, стремясь перехватить его руку с кинжалом, но получилось так, что она схватилась за клинок. И в тот же миг, когда Махмут поднял руку, раздался крик Шахарзан:

⁷ Дигиза – девушка, обслуживающая невесту в первые дни в доме мужа.

– Ой, мама!

Джигиты, одним прыжком оказавшиеся около Махмута, набросились на него, отняли кинжал. А у бесчувственной Шахарзан, кровью своей окрасившей и занавеску у ног, и нарядную одежду свою, столпились женщины.

И, мягко попрекая за легкомысленную выходку и всячески уговаривая, джигиты вывели Махмута во двор. Вскоре появились и джигиты из дома Токлуевых, которые каким-то чудом прослышали о том, что Махмут спустился с коша и направился в дом Гитче. Они тоже набросились на Махмута со своими упреками:

– Что случилось?

– Что ты натворил, чтоб покойник вошел в твой дом!

– Хоть бы сперва домой зашел – что тебе здесь надо было?!

– Не шумите особо, джигиты, – сказал подошедший старик. – Ничего страшного не случилось. Правда, Махмут поступил немного легкомысленно, но что теперь-то поделаться? Он лишь поранил пальцы Шахарзан – ничего больше не случилось. Отведите его домой – да сохранил нас Аллах от большей беды.

Один из джигитов из рода Токлуевых зашел в дом и тут же, задержавшись ненадолго, вернулся и сообщил товарищам:

– Перевязывают руку. Пусть молится Аллаху, что только этим и отделалась. Держите, отведем его домой!

Дружно подхватив Махмута со всех сторон, джигиты повели его со двора Кадыровых. А он все умолял своих родичей:

– Пустите, ради Аллаха, – дайте мне пролить ее поганую кровь!

Жулдуз увидела, как джигиты, обхватив с обеих сторон, вводят во двор Махмута, заметила на его поясе пустые ножны от кинжала и тут же принялась голосить и рвать на себе волосы.

– О, померкло солнце мое, потух мой очаг! Что же ты натворил, мурдар^{8?}

Махмут ничего не сказал, лишь глянул на нее недовольно.

– Успокойся, Жулдуз, не поднимай хай на все село! Ничего не случилось! – раздраженно прикрикнул на нее один из джигитов.

– Где же тогда его кинжал? – вскричала, чуть-чуть успокоившись, Жулдуз.

– У меня. Не шуми попусту, ради Аллаха! – ответил один из джигитов.

А двор уже был полон народу. Мужчины и джигиты ввели Махмута в дом, расселись, разговорились. Узнав о том, что случилось, собравшиеся взяли Махмута в оборот, то упрекая его, то уговаривая.

– Эх ты, хотя бы село-жамауат уважил – зачем же так легкомысленно поступать? Ты ведь не мальчишка, а мужчина!

– Аллах, видимо, так предписал – что же тут поделаешь?

– Жениться, выйти замуж – разве с них началось это? Конечно, немало не так, виноваты они, но что теперь-то делать, душа моя, свет очей моих? Мужчина многое должен терпеть – стерпи и это.

– Раз дело свершилось – что толку теперь за ним с кинжалом гоняться, что найдешь? Вот было бы здорово, если ты, с пылу-жару, убил бы там кого-нибудь и поплелся бы в Сибирь, оставив дома старых родителей и детей – так, что ли?

– Они свершили поступок, достойный их самих – а ты стерпи! Другого выхода нет, оллахий, так.

– Ну, хорошо, ты не можешь стерпеть – а что делать-то будешь?

Так беседуя, уговаривая, мужчины посидели до вечера, пока не настала пора позаботиться о скоте.

Когда люди разошлись, Махмут зашел в комнату Саният. В этот день, когда Шахарзан «убежала», у нее закололо в сердце, и с тех пор она с постели не вставала. Видимо, когда Махмут сидел с мужчинами, Жулдуз рассказала все, что произошло, поэтому Саният, как только вошел Махмут, горячо стала его заклинать:

– Да умру я прямо перед тобой, Махмут, если еще раз попытаешься на что-то такое. Почему это она должна отказываться от своего счастья? Если любят друг друга – пусть живут, да будет радость спутником их жизни!

– Да – можно подумать, что они сгорали от любви друг к другу, собаки!

– Оставь, ради Аллаха! Не порть себе кровь!

– Пусть бы за кого угодно пошла – за ишака, за кобеля, за смерть, – лишь бы не поганы наши обычаи, не причиняя тебе боль.

– Оставь, Махмут! С чего это вы все всполошились, я даже не понимаю. Что здесь необычного, разве до Шахарзан ни одна девушка не убежала?

– Смотря как убежать! Но ты все равно зря не расстраивайся. Мало ли таких бездельников, как Гитче? Может случиться так, что встретишься и с таким, что через голову твоего Гитче перепрыгнет. Оллахий-билляхий, он никогда не станет человеком, не будет порядочным семьянином, не поставит дом на ноги – он же бездельник и повеса, привык к праздной, бродячей жизни. Как будто сама не знаешь. Чем выйти за такого замуж, уж лучше остаться дома в старых девах.

Саният незаметно горько улыбнулась. «Уж теперь-то, брат мой, можешь особо не сомневаться, что я осталась дома старой девой!» – подумала она. Кроме какой-то непонятной тупой боли, сжавшей сердце и парализовавшей ее волю, она в эти дни ничего не чувствовала. С чего это ее родня подняла такой шум-гам оттого, что Шахарзан, девушка, ко-

⁸Мурдар – убийца, подлец, негодяй.

торой исполнилось уже двадцать пять лет, вышла замуж – она не понимала. Все эти разговоры-пересуды, тревоги и волнения доходили до ее сознания смутно, издали, словно во сне. А временами казалось, что все это и в действительности происходит во сне. Вот проснусь, мелькала в голове мысль, и все исчезнет – шум и крики, озабоченное лицо матери и проклятья, – и жизнь опять пойдет своей дорогой. Но сон этот длился слишком уж долго, и она начинала верить, что все это происходит на самом деле, и никогда уже не вернется в этот дом прежняя спокойная безмятежная жизнь. И чем больше Саният убеждалась в этом, тем больше неведомая сила сжимала ее сердце, сковывала ее всю, как железными обручами, – ни пошевелиться, ни встать. Вот и сейчас: пришел Махмут, ласково поговорил с ней, пытаясь успокоить, утешить, и не успел он прикрыть за собой двери – а сердце Саният сжало еще больше. Да, да – во всем виновата она, Саният: это из-за нее брат возненавидел сестру, в дом пришел позор, нанесен удар по чести села. Если б не она, сейчас бы в обоих домах царили не тревоги и волнения, а радость и веселье, никто бы не проклинал Шахарзан, не говорил обидных слов по адресу ее отца, воспитавшего такую непутевую дочь, а наоборот – в ее честь, в честь ее отца провозглашали бы здравицы! И мудрые лица белобородых стариков не омрачились бы от мысли, что это позорное явление случилось именно в их селе. Конечно – все эти напасти только из-за нее одной, спору нет. И по какой бы стежке-дорожке ни ходили-блуждали мысли Саният, они непременно заканчивались тем, что она, Саният, каждый раз, почти вслух говорила: «Если б не было меня!»

Через два-три дня Саният оправилась, поднялась на ноги. Махмут вновь отправился на кош.

– Отец, наверное, тревожится – с чего это я столько времени пропадаю, – сказал он, как бы оправдываясь перед Саният за то, что оставляет ее одну, слабую, без его братской заботы.

Стояли последние дни марта. Приближалась пора, о которой шутили-говорят: «Вот опять – черкесы всю зиму доили, доили туманы, а теперь на лето прогнали их к нам!» Туманам удавалось иногда пробираться аж до самой Большой Балкарии. Но стоило засветиться солнышку, как туман, словно ватага озорников в чужом саду, завидевшая хозяйина, рвась на клочья, панически разбегался во все стороны – часть стремглав поднималась в небо и бесследно таяла в синеве, часть неспешно отступала по ущелью вниз, часть пряталась в ложбинах и расселинах среди перелесков и кустов. В селе снега почти не видно, его жалкие остатки прячутся в тени каменных заборов или же в глубоких ложбинах, укрывшись грязью и разной шелухой. Но в горах таяние снега только началось, и воды в Большом Черке с каждым днем прибывало. Весна набиралась сил, становилась полновластной хозяйкой в ущелье, в селах, в каждом доме, заставляя забыть или отодвинуть в закуток на потом все хлопоты-трево-

ги людей, не связанные с ее, Царицы, делами и заботами. Начали забываться и волнения и пересуды в связи с замужеством Шахарзан. Еще бы – до того ли сейчас людям, обремененным куда более важными делами и тревогами! Вон какая теплынь настала – пора и о пахоте, и севе позаботиться, на кошах идет окот – дел невпроворот, а тут, как назло, сено дома кончается, а корову-то еще не пустишь пастись – трава только-только прорастает, овцам и то лишь чуть-чуть полакомиться удастся. Одна только надежда на солнце и туман – чтоб солнце поярче светило, да туман чтоб в ущелье не часто пробирался. Тогда весна будет дружной и скорой.

А с тех пор как прояснилось, стоят такие ночи – если выйдешь во двор и домой заходить не хочется: в бархате неба, таинственно перемигиваясь, беседуют звезды меж собой; луна, еще полностью не оправившаяся после очередной трапезы эмегенов⁹, с опаской выглядывает из-за Гюльчи-горы. Наверное, обидно Матушке-Природе, что она на протяжении стольких веков оберегала, ласкала, кормила и поила этих людей – вспомнить хотя бы ураганные нашествия гуннов и монголов! – а они не могут хоть одну ночь все вместе выйти на Зына-долину и устроить праздник в ее честь! Хоть бы один из них крикнул среди ночи: «Эй-гей, аланы! Встаньте – посмотрите какая кругом краса! Это же наша родная Матушка-Земля! У кого еще есть такое сокровище!» Ан нет – не находится сегодня среди аланов такой человек. Рассердиться бы Матушке-Природе на неблагодарных людей, перемешать бы все эти хрустальные горы и изумрудные долины, да не решается она на это – видно, чувствует материнское сердце, что аланам и сегодня не легче, чем в те далекие страшные годы, когда она укрывала их на своей груди от кровожадных их врагов. Чуткое материнское сердце знает – хотя и нет войны и огня, но и сегодня у горцев забот и тревог не поубавилось... И горы, и звезды, и луна, и небо, кажется, понимают ее, Мать-Природу, они, как и всегда, собрались вокруг аланских жилищ и молча, любовно охраняют их покой. Только одна Черек-река не может с этим примириться – возмущенная, шумит, гремит на все ущелье, стараясь разбудить, поднять этих людей и сказать им прямо в лицо: «Да очнитесь же вы, аланы, оглянитесь вокруг, посмотрите хоть разок на красоту, что вас окружает, и возблагодарите Мать-Природу!» Но не может река разбудить уставших людей, не в ее, видимо, силах...

В одну из таких ночей, когда в доме давно уже все уснули, Саняет, накинув на плечи каптал¹⁰, вышла во двор. Долго стояла, прислушиваясь к шуму Черек-реки, и тихонько пошла за калитку. Бесшумно пробралась

⁹ После очередной трапезы эмегенов – в балкарской мифологии и сказках часто упоминается о том, что чудовища-эмегены пожирают Луну.

¹⁰ Каптал – вид верхней одежды, легкое пальто.

¹¹ Эжиу – хоровое сопровождение во время исполнения песни.

по знакомому тесному переулку к берегу реки и стала у обрыва. Оттуда, снизу, доносился мощный эжиу реки, словно там, на берегу, у самой воды, собрался хор и, затянув мелодию, ждет громкоголосого певца, что должен начать какую-то трагическую песню-плач. Этот эжиу¹¹ увлекал, манил к себе...

И в этот момент Саният с ужасом почувствовала, что какое-то существо касается ее ног – она отскочила в сторону, даже не вскрикнув: от страха у нее отнялся язык. Это был Каракёз, их же, Токлуевых, пес. Каракёз сидел там, откуда отскочила Саният и жалобно скулил, он как бы просил прощения – прости, мол, ради Аллаха, откуда было мне знать, что ты так перепугаешься?

– Каракёз, мой хан, откуда ты взялся? – сказала Саният, придя в себя.

Собака, по голосу догадавшись, что не получит взбучки, подошла к Саният. Девушка присела, обняла, приласкала собаку. А Каракёз, не зная, что и делать от радости, то старается лизнуть ее в лицо, то, вскочив, делает два-три шага в сторону села, как бы говоря: «Чего стоишь? Пойдем домой, здесь с холоду и околеть можно!» – и призывно скулит. Доброта Каракёза, его забота о ней, растрогали Саният – она, еле сдерживаясь, чтобы не разреветься, обняла и поцеловала собаку. Потом еще постояла, прислушиваясь к шуму реки, любуясь призрачными видами гор, звездами, луной и, словно что-то твердо решив, сказала собаке:

– Идем, мой хан, идем. Пойдем домой!

Что-что, но значение слова «домой» Каракёз знал прекрасно, а потому, наострив уши назад, – смотри, мол, не обмани! – не спеша, пустился по тропинке в сторону села. А если, задумавшись о чем-то своем, собачьем, Каракёз уходил слишком уж далеко вперед, он садился и ждал Саният. Так они вскоре и дошли до дому. С тех пор как Саният вышла из дому прошло, наверное, не больше часу, но этот час показался ей вечностью. Вот почему она так удивилась, когда увидела, что все в доме – и келин, и мать, и дети – спокойно спят, как ни в чем не бывало...



ОБРАТНЫЙ ПЕРЕХОД

Многие годы сотрудником «Литературной Кабардино-Балкарии» был поэт и переводчик Георгий Яропольский.

В 2017 году в Нальчике было издано эссе Джамбулата Кошубаева «Обратный переход: Штрихи к портрету Георгия Яропольского». Здесь мы приводим его сокращенный вариант.



Г. Б. Яропольский

*«Со смерти все начинается».
Л. Н. Мартынов*

*«Меняются портреты тех, кто умер», –
раскормленные знахарки твердят.
Трагедией вернулся черный юмор?
Нет, это проясняется наш взгляд.*

*Иные смыслы видеть надоумил,
когда ушел – за грань, за строки, за...
Закрыв глаза – давая знать, что умер, –
поэт всем остальным открыл глаза.*

Вечер поэзии Георгия Яропольского в Нальчике. Последний прижизненный вечер. Он состоялся 9 ноября 2015 года. Зал был полон. Искреннее объяснение и признание в любви к поэту. Сам Георгий уже не мог на нем присутствовать. До его ухода из жизни оставалось двенадцать дней. Пишу эти строки и слышу его тихий голос:

– Не верится, что это происходит со мной.

Он сказал это, вернувшись из Израиля, где врачи поставили ему неутешительный диагноз: все зашло слишком далеко. И о болезни я узнал не от него, а от посторонних. Спросил: «Правда ли?» Втайне ожидал услышать: «Нет». Сколько мужества в нем оказалось, истинного, неподдельного, без бравады и рисовки. Ни одной жалобы, ни капли публично выказанного страха. Только – «не верится...»

Впервые я увидел Георгия на семинаре молодых писателей в начале восьмидесятых. Не обратить на него внимание было невозмож-

но – высокий, под метр девяносто, тонкий, удивительно светлый, весь будто прямой луч солнца. Это первое впечатление от его облика оказалось верным и по отношению к его человеческим качествам, которые я смог оценить спустя несколько лет, в 1988 году, когда мы с ним познакомились ближе. В то время я работал в редакции газеты «Советская молодежь». К нам приходило довольно много начинающих, и не только поэтов и прозаиков, и было принято решение организовать ежемесячную «Литературную страницу» (1988–1993). Вокруг «Литературной страницы» собралась большая группа авторов – Константин Елевтеров, Игорь Мазуренко, Василий Школьный, Сергей Усачев, Тахир Толгуров, Рауф Ахмедов, Мария Белякова, Юруслан Болатов и многие другие. И, конечно же, Георгий Яропольский, который в ту пору, единственный из всех, уже был автором переводов сборника стихотворений Абдуллаха Бегиева «Слово» (1986) и автором собственного поэтического сборника «Пролог» (1989).

Георгий всегда был внимателен к собратьям по перу. Он мог совершенно бескорыстно, не жалея своих сил и времени, днями возиться с чужими рукописями, доводя их словом и делом до публикации. Это его удивительное качество сполна проявилось во время подготовки сборника молодых поэтов и прозаиков «Джантуган» (1992).

В 1989 году по предложению близкого друга Георгия Игоря Мазуренко был создан «Пен-клуб», его заседания проходили во Дворце культуры профсоюзов, но после трех-четырёх заседаний Георгий сказал: «По-моему, здесь делать больше нечего». Слишком много возникло людей случайных, заседания превратились в говорильню и пустое времяпрепровождение. Хотя изначально предполагалось, и так оно и было, что каждое заседание, один раз в месяц, должно начинаться с чтения новых произведений и их профессионального обсуждения.

В 1990-м, по инициативе преподавателя КБГУ Тамары Бертовны Гуртуевой состоялся первый и единственный по сей день телевизионный «Литературный ринг» – молодые поэты читали свои стихи и отвечали на вопросы публики. Георгий прочитал пять-шесть стихотворений и среди них «В стране слепых»:

*Излишество – такой же недостаток.
В стране слепых все зрячие – изгой.
Они несчастны,
об этом часто не подозревая.
Вот им и соболезнуют вдвойне.*

Весы сподручнее на двух опорах.

*Держаться в спорах лучшие середины.
Зубовный скрежет
и пенье ангелов одновременны
и поровну содержат децибел.*

*Кровь, слезы и чернила разложимы
на элементы. Мелкая посуда
вместить способна
все океаны, реки и проливы.
Вода всегда останется водой.*

*А бесконечность,
отними две трети,
пребудет бесконечностью. Страшнее
обрезать палец.
Промолвил некто: «Время – это двери».
Пожалуйста, не хлопайте дверьми!*

*Нам (каждому) дано лишь по стакану –
пролить, разбить, обрезать палец, выпить.
Не будет бури.
Поэтому давайте веселиться –
в стране слепых похвально быть слепым.*

В обычной беседе голос у Георгия был тихий, спокойный, мягкий баритон, но когда он начинал декламировать – голос приобретал звучность и резкость, менялся весь его облик: правая рука сжималась в кулак, голова запрокидывалась слегка назад, взгляд устремлялся вверх и вдаль, словно он считывал текст откуда-то сверху. Он явился поэтом и явился сразу, и не почувствовать это, не увидеть было невозможно. И все мы, я имею в виду ту группу молодых поэтов и прозаиков, знали это, знали, что он первый среди нас и таковым останется.

Первый среди нас. А были ли у него предшественники, учителя? На эту тему я с Георгием не говорил. Но его эрудиция, начитанность были поистине безграничны. Он очень внимательно следил за всем, что появлялось на книжных полках, и не только на книжных.

Вспоминается начало девяностых. Мне случилось быть в гостях у Георгия, когда внезапно распахнулась дверь и на пороге появился его отец, которого я видел впервые. Борис Владимирович был такой же высокий, под два метра ростом. Он начал за что-то выговаривать сыну – обычное, как теперь представляется, проявление отцовской

заботы и любви. Георгий поначалу отвечал вяло, но затем его реплики становились все эмоциональнее. В какой-то момент я, не выдержав, воскликнул:

– Вы не понимаете! Ваш сын – гений! И мы все будем им гордиться!

Борис Владимирович на мгновение опешил, а затем, улыбнувшись, спросил:

– Вы уверены?

– Конечно!

Насколько я знаю, Борис Владимирович тоже был не чужд творчества, писал и стихи, и заметки. Но какова была степень их близости и понимания – мне судить трудно. А вот что касается его матери – Дианы Аркадьевны, с нею, как мне чувствуется, Георгий составлял единое, неразрывное целое. Тот самый Хрустальный шар.

Однажды мы стояли с ним на автобусной остановке и вдалеке показалась Диана Аркадьевна. И он вдруг, слегка прикоснувшись к моей руке пальцами, произнес с удивительно проникновенной интонацией:

– Хорошо, когда у тебя есть мама.

Это прозвучало не как констатация факта и даже не как признание в любви, что естественно, а как нечто неизмеримо большее. И теперь, из моего нынешнего дня, слышится в этой интонации сострадание и участие, словно не он, а она его ребенок, словно он знал, что уйдет отец – Борис Владимирович умер 17 февраля 2010 года, а через пять лет не станет и самого Георгия.

Трудно назвать человека, более преданного в дружбе, чем Георгий. К тому же, будучи от природы бескорыстным, прямым и щедрым, он, даже уверившись в некоторой моральной нечистоплотности, мог долго не порывать отношений в силу своей доброты, и возможно, веры, что глубинно этот человек не так плох, как проявил себя.

Особенно близкие отношения связывали его с замечательным балкарским поэтом Ибрагимом Бабаевым, которого он много и талантливо переводил. Книга И. Бабаева «Колыбельная для молнии» наполовину, если не больше, состояла из переводов Георгия.

Уход из жизни Ибрагима Бабаева в марте 2002 года стал для него огромной личной утратой, которую он переживал глубоко и сильно.

Такие же узы многолетней дружбы связывали Георгия и Али Байзуллаева – балкарского поэта-билингва. Али Байзуллаев ушел из жизни 3 марта 2011 года. В тот день с утра шел снег и все вокруг стало абсолютно белым. Машина с телом поэта уже трогалась со двора, когда появился Георгий, видимо, он поздно узнал о случившемся. Он

не просто появился – он бежал, без куртки, с непокрытой головой, и успел нагнать машину буквально на выезде. Машина остановилась. Георгий поднялся в кузов. На кладбище он не поехал, но несколько минут, которые он был с Али, были последней данью любви и уважения.

Вообще же, круг его друзей был очень широк. Среди них – писатель Игорь Терехов, поэт Абдуллах Бегиев, критик и литературовед Рая Кучмезова, прозаик Мухамед Емкужев, поэт Мухтар Табаксоев, издатели Мария и Виктор Котляровы – с ними он сотрудничал практически всю жизнь, поэт Тамара Чаниева, назвавшая его «Человеком любви», с нею у Георгия были совместные поэтические опыты (поэма «Вариант № 9»), скульптор Светлана Мамонова, художники Андрей Калкутин, Мурат Мисаков, Михаил Горлов – последние двое оформляли сборники его стихотворений «Акт третий, сцена первая» (М. Мисаков) и «Сфера дымчатого стекла» (М. Горлов).

Он действительно обладал даром дружбы, который предполагает и терпение, и понимание, и прощение. Случалось, хотя и очень редко, ошибиться в человеке. Один молодой поэт, очень внимательно и тепло принятый Георгием, вдруг переменялся до неузнаваемости, начал писать бесконечные, довольно грязные пасквилы и жалобы на всех вокруг, в том числе и на Георгия.

– Перешел в другой жанр, – кратко прокомментировал Георгий и решительно порвал с ним всяческие отношения.

Но, повторюсь, такое случалось редко.

Георгий, отмечая искусственность того или иного поэта, говорил: «Мало крови в чернилах».

Обратимся к В. Брюсову:

*И в час беспощадных распятий
Прославь исступленную боль.
В снах утра и в бездне вечерней
Лови, что шепнет тебе рок,
И помни: от века из терний
Поэта заветный веноч.*

Георгий помнил об этом:

*Мерцает мне разгадки торжество –
так звезды днем видны со дна колодца.
Что понял? Прописное: для того
чтоб к вам дойти, распять себя придется.*

*Не ново? Что ж, и весь мой путь не нов.
Весь мир не нов, меняясь поневоле.
Пусть выведут в нем розы без шипов,
но красота немислима без боли.*

Быт окружает нас со всех сторон, и мы все одинаково в него погружены, но для Георгия он удивительным образом отсутствовал. Я не помню за все время нашего общения ни одного случая, чтобы он говорил о своих бытовых и вообще личных проблемах, словно их и не существовало вовсе. А они, безусловно, были, особенно в «проклятые» девяностые, когда повсюду царили хаос и разруха.

Но для Георгия именно девяностые годы оказались сверхплодотворными, он создал такие поэмы, как «Железо и цифры», «Ключ», «Признаки жизни», «Пылающий диван». Кстати, «Пылающий диван» оказался пророческим – Георгий чуть не погиб при пожаре, когда его квартира на четвертом этаже выгорела полностью, входную дверь заклинило, и его спасли пожарные, вытащив через окно.

В 1998 году мы, практически одновременно, написали поэмы, он – «Черную субботу», я – «Корабль мертвецов». Прочитав «Корабль» в рукописи, он воскликнул:

– Мы же с тобой написали об одном и том же! Мы одинаково, но по-разному, чувствуем время!

И он тут же начал хлопотать о публикации «Корабля мертвецов».

Спустя два года Георгий подготовил к публикации подборку моих стихотворений и в небольшом предисловии «Архитектор мироздания» упомянул об этом эпизоде: «Насколько этот мир соотносим с реальностью? Позволю себе поделиться таким соображением: в конце 1998 года Кошубаев и я практически одновременно написали по поэме. Он – «Корабль мертвецов», я – «Черную субботу». Обменявшись текстами, мы оба были поражены глубинным сходством мотивов, тем и акцентов. Из этого оставалось сделать только один вывод: мы оба реалисты, ибо, с разных позиций и с помощью разных художественных средств глядя на мир, приходим к сходным выводам о нем: реализм неистребим, в какие бы странные одеяния он порой ни рядился...»

Способность Георгия радоваться чужому успеху и, более того, стремление сделать его публичным – черта большого, незаурядного характера и таланта.

Его участие в литературной жизни всегда было активным и абсолютно бескорыстным. Узнав о возможности где-то издаться, он использовал ее не только в собственных целях, но всегда старался привлекать всех, чье творчество считал заслуживающим внимания. И благодаря его усилиям, произведения поэтов и прозаиков Кабардино-

Балкарии печатались в периодических изданиях Москвы, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Таганрога.

Он всегда стремился к широкому представительству и диалогу и делал для этого многое, при этом не афишируя себя, не требуя привилегий, признательности и лавров.

Мне особенно запомнился день 7 октября 2008 года. Поздно вечером раздался звонок в дверь. На пороге стоял Георгий, в руке он держал свернутые в свиток страницы.

– Я закончил. Читайте. – С этими словами он перешагнул порог и вручил мне свиток.

Это была поэма-трактат «Потерянный ад». Мы с моей супругой Асей Додуевой читали ее, передавая друг другу страницы, а автор сидел напротив и внимательно следил за выражением наших лиц своими темно-карими глазами из-под поблескивающих очков.

Абсолютно понятно это нетерпение: труд завершен, грандиозный труд, и хочется увидеть и услышать первую реакцию. Единственное, что мы смогли сказать ему в тот вечер, что это действительно грандиозное и масштабное произведение, но чтобы говорить о нем серьезно и обстоятельно, его следует не торопясь перечитать, и не единожды.

Вообще к критике, если она носила профессиональный, заинтересованный и доброжелательный характер, Георгий относился очень внимательно и с благодарностью. Но как раз-таки с такой критикой дело обстояло, да и по сей день обстоит плачевно.

Единственный литературный вопрос, по которому мы с ним расходились, – переводы. Он переводил неимоверно много и зачастую характер его работы превращался в поденщину.

– Ты понимаешь, – говорил я ему, – что благодаря твоему таланту и усердию потом эти люди втискиваются в литературу и садятся нам на голову?

Конечно, он прекрасно это осознавал, но страдал от этого в первую очередь он сам. Однажды он показал мне листочки с чудовищно безграмотным текстом, записанным в виде четверостиший.

– Это что за ужас? – спросил я.

– Как говорит автор – замыслы стихотворений.

– Может, я тебе изложу замысел сборника?

Мы рассмеялись, хотя, по большому счету, было не до смеха.

В другой раз, помнится, как он, уставший и задумчивый, занятый очередными переводами «живого классика», выпустил вместе со струйкой табачного дыма тяжелый вздох-жалобу, что было для него вообще редкостью:

– Если бы ты знал, как тяжело быть «живым классиком»!

Вероятно, взявшись за очередного «классика», Георгий и написал в перерывах своего «Литературного негра»:

*Не в силах жить единым небом,
я всё же словом был согрет,
служба литературным негром:
строка за пачку сигарет.*

*Немало рифменных находок
в чужой я сваливал подвал;
кадык мой дергался, но «кодак»
исправно снимки выдавал.*

*Восторги пролетели мимо,
и в самом буйстве тыл покой –
не все ли мне равно, чье имя
стоит над мертвою строкой?*

*За клумбами следя ретиво,
листочки стриг я на кустах,
но прорастала вдруг крапива,
моим заказчикам на страх.*

*Мне на прощанье помахали,
и я опять среди своих –
с пыреем рядом, с лопухами
ращу неприхотливый стих.*

«Пачка сигарет» – не метафора, действительно, случилось, что с Георгием авторы расплачивались таким образом. Но настал день, когда он неожиданно произнес:

– Всё. Больше я этим заниматься не буду.

И он сосредоточился на англоязычной прозе и на тех иноязычных поэтах, которые вызывали у него любовь и восхищение. Знаю точно, что среди последних были Кязим Мечиев, Ибрагим Бабаев, Галактион Табидзе, Роберт Фрост и Филип Ларкин.

Вообще, его работоспособность поражала. Если сложить все переведенные им тексты, они составят 15-20 томов! И действительно, Георгий был, пожалуй, единственным у нас в республике профессиональным литератором, который жил именно литературным трудом.

Делать карьеру, добиваться успеха любой ценой – всё это было не в его характере. Знаю достоверно, что кандидатура Георгия рассматривалась на должность редактора журнала «Литературная Кабардино-Балкария», но он сам не приложил никаких усилий, чтобы эту должность занять.

Георгий обладал прекрасным чувством юмора, причем не переносил нецензурной лексики и пошлости. Самым ругательным его словом было «бурундук», вероятно, как символ мещанства, потребительской психологии.

Однажды он поведал мне историю о том, как, будучи студентом отделения английского языка факультета романо-германской филологии КБГУ, был «завербован» КГБ. В те годы существовала такая практика, когда отдельным студентам предлагалось сотрудничество с органами. Перед летними каникулами предложение «послужить родине» поступило и Георгию: надо было отправиться в Приэльбрусье, установить контакт с конкретной американской супружеской парой и регулярно докладывать о всех их беседах и передвижениях. Естественно, за счет «конторы».

«Почему бы мне не отдохнуть и не подтянуть свой разговорный английский?» – подумал Георгий и согласился. Он легко вошел в контакт с американцами, которые оказались людьми простыми и очень дружелюбными, замечательно проводил время на лыжных трассах. Куратор Георгия, спортивного сложения мужчина, в тренировочной красной куртке с надписью «СССР», встречался с ним дважды в неделю. И к исходу второй недели его раскусили, поскольку Георгий обстоятельно пересказывал восторги американцев балкарской кухней и красотами природы. Его лишили доверия, финансирования и спешно отправили домой в Нальчик.

Эта история совершенно в духе романа Грэма Грина «Наш человек в Гаване», в котором герой за определенную плату передавал американской разведке «секретные» чертежи пылесоса под видом чертежей секретных объектов. Кстати, именно роман Грэма Грина «Это – поле боя» станет первым переведенным Георгием англоязычным романом.

Так сложилось, что мне довелось быть редактором его сборников стихов «Реквием по столетию», «Сфера дымчатого стекла», «Нечто большее», а также его последней прижизненной книги – сборника статей «Связка ключей». Конечно, быть редактором Георгия Яропольского – довольно условное понятие. Скорее – большое удовольствие и огромная радость, и, безусловно – редкая удача. Какие-то мелкие расхождения и замечания не стоят упоминания, единственное, что следует отметить, он уважительно относился к чужому мнению, но если был убежден в своей правоте – стоял до последнего.

Георгий принадлежал к тем редким, я бы сказал – редчайшим, авторам, которые с почти священным трепетом относятся к тексту.

Каждая строчка, буква, запятая – всё значимо, никаких поблажек. И в этом проявлялся его высочайший профессионализм.

В одном из своих интервью на вопрос: «Какие твои работы тебе наиболее дороги?» – он ответил: «Верлибры конца восьмидесятых и начала девяностых, поэма «Признаки жизни»».

Я уже писал выше, что лирика и поэмы Георгия составляют единое целое – лиро-эпос. Это – грандиозный Поэтический Собор, с башенками, шпилями, с просторными залами и потайными комнатами. И ключом к этому Собору, его порталом может служить удивительное стихотворение Георгия «Интермедия»:

*Я прописан в поэме –
я в ней сплю и курю,
и на мир в отдаленье
из оконца смотрю.*

*Утомило сиденье
взаперти этих глав –
уступаю идее
час убить, погуляв.*

*Выхожу из поэмы.
Гулко хлопает дверь.
Тишина в стенах темы
воцарится теперь.*

*Фаза нынче свободна –
отдыхает подряд;
пусть герои сегодня
что угодно творят.*

*Станут сонмы созвучий
различимы едва,
у межи неминучей
засинеют слова.*

*Будут тени клубиться,
маятою маня,
будет сумрак копиться
по углам, без меня.*

*Зыбких образов тыщи
отразятся во мглу.*

*Я вернусь в темнотище –
и, наощупь, к столу.*

Будучи довольно немногословным, Георгий удивительно умел молчать. Это было легкое молчание, не угнетающее и не подавляющее того, кто рядом. Так можно молчать лишь с очень близким человеком. И в нашем общении молчания было больше, чем разговоров, хотя теперь, конечно, я сожалею об этом – о том, о чем не спросилось и не сказалось.

По возвращении из первой поездки в Израиль (всего их было две – в 2014 и 2015 годах) Георгий забежал ко мне на работу, буквально на минуту, а уходя, вытащил из сумки висевшей на его приподнятом худом плече сувенир – маленький запечатанный пакетик с изображением Христа и апостолов, а внутри – горстка Святой земли и нательный крестик.

Он так и стоит нераспечатанным – красная земля с иерусалимских холмов и серебряный крестик. «Записку Богу» он написал, по всей видимости, во время пребывания там:

*Лбом упершись в Стену Плача,
знай себе молчу.
Изъясню ли – вот задача! –
всё, чего хочу?*

*У меня корявый почерк –
есть досуг вникать?
Что, без букв и штучек прочих
обойтись – никак?*

*Не избрать ли связь немую,
без посредства слов?
Но к общенью напрямую
мало кто готов.*

*На мерзавца напороться
всем в себе претит:
вдруг под слоем благородства –
голый аппетит?*

*Лучше в слово, словно в тогу,
наготу облечь.
Сколько их, посланий к Богу, –
сыплют, что картечь.*

*Что ж, ступай, моя записка,
в щелку меж камней.
В общем хоре даже писка
вряд ли ты слышишь.*

*Вряд ли нашей карго-вере
ведом юный пыл,
но в словах, по крайней мере,
искренен я был.*

Когда Георгия не стало, мне сообщила об этом Мария Котлярова. Мухамед Емкужев, Мухтар Табаксоев, я и санитар выносили его невесомое тело из квартиры на шестом этаже. Почему-то подумалось тогда – тело Дон Кихота. В санитарной машине поехали я и Мухтар. Я сидел рядом с Георгием, придерживая его на ухабах, и всё это казалось ирреальным, невозможным... Искренность слова и молчания.

Я смотрю на подарок Георгия и чувствую его незримое молчаливое присутствие. Нам ещё есть много о чём помолчать вместе...

Отдельное и очень важное место в творчестве Георгия Яропольского занимает стихотворное переложение «Апокалипсиса святого Иоанна Богослова». Завершающую книгу Библии он однозначно считал «метафорой борения между силами добра и зла в душе человеческой».

Помню, как по выходе первого издания «Переложения» в 2005 году он пришел какой-то весь таинственный, со светящимся от счастья лицом и через какое-то время вручил маленькую, драгоценную книжицу – «Апокалипсис».

– Подписывать не буду, – сказал Георгий, – я не автор, я – соучастник.

Георгий не ходил в церковь, не соблюдал пост, не проявлял никаких внешних признаков религиозности, но он был глубоко верующим человеком. Это явствует из всего свода его поэзии. Каким бы он ни казался ироничным, саркастичным, даже порой безжалостным к своему лирическому «я», вера в высокое начало в человеке, в его божественную сущность – эта вера была у него всегда.

Отпевали поэта в теплый, прозрачный осенний день в храме преподобного Симеона Столпника. В этом тоже некое указание – подобно Симеону, Георгий также верно нес свою аскезу, стойко стоял в своем деле до самого конца. Служба длилась около часа. Практически все, кто присутствовал тогда, отметили удивительное состояние светлой скорби – мы не прощались с поэтом, мы его провожали...

В январе 2016 года ко мне обратилась мать Георгия Диана Аркадьевна с просьбой выступить составителем его избранных произведений. Это была одновременно и радостная, и горькая работа, радость от осознания того, что этот поэт был среди нас, горечь – что его больше нет.

Когда я впервые увидел не публиковавшиеся ранее стихи последних двух-трех лет, мне стало особенно горько: в какого мастера и поэта он вырос! Какой простотой и мощью наполнен стих! «Уроки. Глиняный цикл», «Синергия. Рождественские октавы», «Голем», «Записка Богу» и многие другие произведения – всё говорило о том, что Георгий рос как поэт, философ, художник.

В работе над «Хрустальным шаром» участвовало несколько человек. Друг Георгия – Тимур Хажуев взял на себя разбор и запись электронного архива поэта, фотограф Наталья Ванина предоставила замечательные снимки. Кстати, сам Георгий не любил сниматься, и в домашнем архиве его фотографий оказалось на удивление мало. Доктор филологических наук Наталья Смирнова написала обстоятельную и глубокую статью «Уйти или остаться? Вот задача...». Огромный объем работы проделала оператор Лариса Фадеева.

И, конечно же, следует особо сказать о Диане Аркадьевне, без которой эта книга вообще не состоялась бы. Ещё при жизни Георгия она неоднократно предлагала ему издать сборник избранных произведений. Но он всё откладывал на потом, поскольку постоянно был погружен в текущую работу. С Дианой Аркадьевной согласовывались и состав, и оформление книги, в чем-то мы расходились, но расхождения были не столь существенны.

«Хрустальный шар» – не первое посмертное издание. В августе 2016 года вышел сборник стихотворений «Альтернативы нет», составленный Лерой Мурашовой – последней большой любовью поэта. В своем предисловии к книге она написала: «Если собрать все, что он написал, мы сможем восстановить, каким он был, посмотреть на мир его глазами. Но полнота реконструкции зависит от полноты мегатекста, и в этом кроется главная сложность».

И «Хрустальный шар», и «Альтернативы нет» – это лишь первые подступы к творческому наследию Георгия.

Он иссяк, тот источник.

Он почти пересох...

*(Как от воплей истошных
пересохла гортань!)*

*Поздних несколько строчек
угодило в песок.*

*Дальше следует прочерк –
значит, всё. Перестань.*

*На глазах – поволока.
Мир утратил черты.
Только запах болота.
Только слякоть да ил.
Отцвела позолота?
Позавяли цветы?
Но, наверное, кто-то
обо мне не забыл.*

*Были руки безвольны –
вдруг почувствовал: жив!
Все пути лишь окольные?
Но я выберу свой!
Эти воды раздольны
(очевидно, прилив),
и вот-вот уже волны
захлестнут с головой!*

Последнее стихотворение звучит как предощущение своей творческой судьбы – «Все пути лишь окольные? Но я выберу свой!». Он совершил свой выбор и не ошибся.



Сфера дымчатого стекла

От дыхания нет следов?
Все сгорает навек дотла?
Но хранит отлетевший вздох
сфера дымчатого стекла.

Позабыт давно стеклодув.
Вздох не канет который год.
Что в нем – грусть? перегара дух?
так, зевок? или боль невзгод?

Это дымчатое стекло
переменчиво, как вода:
то темнеет, то вновь светло.
А внутри – не идут года.

Давний день до сих пор внутри.
Миг ушедший – как в горле ком!
Ты стекло рукавом протри...
Я с таким ремеслом знаком.

Ведь когда я ищу строку,
чтоб не ведала лжи и стен, –
я надежду, любовь, тоску
заточаю в стеклянный плен.

Из чего он, парящий шар?
Сгоряча на асфальт швырни –
лишь взовьется мгновенный пар...
И – осколки лежат одни!

Призадумайся – значит, он
весь составлен из злых заноз?
А рождает – волшебный звон!
Это раньше душой звалось.

Нечто большее

Где мой смех, так залиvist и звонок?
Где мой бег – озорства торжество?
Удирая, хохочет ребенок,
ибо знает: поймают его.

Тот, кто больше, поспеет на помощь:
шаг-другой – и развеет беду.
(Мне потом разъяснит Дилан Томас,
что бегущий похож на звезду:

так разбросаны руки и ноги,
как раскинуты в небе лучи...)
А не знай я о скорой подмоге,
кто втемяшил бы глупому: мчи?

... Впрочем, это поныне не чуждо –
до сих пор, как могу, я бегу,
но иное примешано чувство:
ускользнуть я, увы, не смогу.

Знаю я: нечто неизмеримо
меня большее мчится вослед –
грозно, голодно, неумолимо...
И укрыться возможности нет.

Салют из мыльных пузырей

Как только луч проглянет солнца,
ты, выйдя на балкон, успеи
заметить, как, вертясь, несется
салют из мыльных пузырей.

Кто посылает их незримо
в окно недалнее – Бог весть.
Полет их краток нестерпимо:
подъездов пять, ну, много, шесть.

Летят они все выше, выше,
искрясь под солнцем, как слюда,
но не достичь им даже крыши –

все исчезают без следа.

И мы вот так же мимолетны:
едва лишь выйдем на простор,
как ветру станем неуютны –
глядишь, и нас он к черту стер.

И все же счастливы мы взлету,
пускай и на единый миг,
пусть лишь одну осилить ноту
успеет грешный наш язык!

Набор слов

Среди лубочных облаков.
чей облик ласковый так лаком,
крест самолётика готов
прикинуться небесным знаком.

Но там, я знаю, звон турбин,
раздолье праздным опасеньям.
...Лет в десять ездить я любил
в аэропорт по воскресеньям.

Тоска по странствиям прошла,
менять края неинтересно:
другие заняли дела
ребяческих стремлений место.

Не ведаю, как их назвать –
недосягаемые дали,
когда мои отец и мать
друг друга рядом не видали.

Дотянешься ли в ту же тишь,
а может, в ангельское пенье,
набором слов? ведь это лишь
ещё одно стихотворенье.

Аукцион или распятые?

*Я полюбил железный скрежет
Какофонических миров.*

В. Ф. Ходасевич

Мы все куем, как можем, счастье.
То снизу стук, то с потолка,
но суть одна: кругом всё чаще
звучат удары молотка.

Знаменовал моё рожденье
гвоздь для верёвки бельевой.
Повсюду стук, как наважденье!
Я сплю, укрывшись с головой.

Но вряд ли здесь уместна злоба:
на этом зиждется уют.
В конце концов, и в крышку гроба
вполне законный гвоздь вобьют.

Ну а пока повесим платье
на гвоздь, изобразивший крюк.
Аукцион или распятые? –
Бог весть, но балом правит стук.

Да я и сам весьма прилично
с таким занятием знаком.
О, сколько вбито мною лично,
моим усердным молотком!

От лязга шлямбура дурею
и грохот музыкой зову.
Кроша кирпич электродрелью,
по-настоящему живу.

В бетон вгоняя гнутый дюбель,
я счастлив счастьем дошколят:
так нервы кариесных дупел,
зашкалив, славят шоколад!

Пейзаж

Когда суглинок сей, что спал в подвале,
был вынут, перемолот, оглушен,
то на бугре, на буром пьедестале
стал победитель с задраным ковшом.

Когда чернела грузная машина,
застыв на фоне меркнувшего дня,
мир ощущал, насколько нерушима
связь ветра, влаги, праха и огня.

Когда, густея, сваркой грезил воздух,
в пронзительной прощальной синеве
на равных были – битум в белых звёздах
и ржавый трос в разросшейся траве.

Когда исчерпается к чёрту твой певческий импульс,
досадливо лапкой помашешь: мол, не до олимпу-с,
я лучше со мхами смешаюсь да с листьями слипнусь, –
древесная жизнь, она тоже шурует по жилам;
приятней шуршать, чем опять обнаруживать ляпсус
в своих же стишках, вслед за чем только тыкву облапишь:
в чужие салазки почто, бедолага, залазишь?
пора бы заткнуться, под стать остальным пассажирам.

Заткнуться, замкнуться, и пусть роговеет короста...
Казалось бы, всё справедливо, разумно и просто,
но фото припомнишь трухлявого Роберта Фроста,
что был голосистой тебя даже под девяносто, –
и сызнова старые преодолевают напряжения,
опять приникаешь, коряга, к дисплейной бумаге,
спускаешь в словесные залежи памяти драги,
скребёшь и царапаешь доньшко... так – до погоста.

Не думай о сроке, но, выглянув утром с балкона,
порадуйся молча проворности антициклона,
что за ночь до блеска отдраил настил небосклона,
на коём октябрьское солнце к тебе благосклонно, –
и, шурясь от дыма трескучей своей сигаретки,
возьми на заметку, какой дерзновенной расцветки,

пускай стали редки, но сделались листья на ветке
ещё не опавшего, не оголённого клёна.

Дым

Мы заплутали: нет ни оград, ни вех.
Бах ли поможет, или подскажет Блок?
Сизые нити дыма струятся вверх,
сизые нити дыма вдыхает Бог.

Впрочем, навряд ли: всё поросло бильём.
Нет нам ответа, смутен нам Божий лик.
Блёклое небо пялится вниз бельмом,
ангелы скрылись, всяк прикусил язык.

Бог позабыл ли с нами Своё родство?
Равен эпохе каждый протяжный вздох.
Можно ли рушить зыбкое статус-кво,
если застряли мы посреди эпох?

«Явственно только чувство – не здесь, не так», –
строчка сложилась – в прошлом, с чего невесть.
Зло прорастает, ровно какой сорняк,
и не изводит – множит мерзавцев месть.

Как раскурочить цепь, что сковали нам?
Станет ли время – без дураков – иным?
Верится, что охранит нас заветный храм,
зренье вот только застит прогорклый дым.

Когда смыкается печаль
над выщербленным суесловьем,
то переход к иным речам
природой ночи обусловлен.

Он обусловлен тишиной,
дождём, распластанным по крышам,
и очень внятной виной,
чей голос в гомоне чуть слышим.

Тогда являются слова
о том, что якобы забыто,
и – распрямляется трава
из-под глумливого копыта!

Разъятые на «я» и «ты»,
мы искренности не стыдимся –
так разведенные мосты
томит желание единства.

Мосты, естественно, сведут.
Сомкнётся линия трамвая.
Загомонит весёлый люд,
друг дружке медь передавая.

Зимнее время

Все земные заботы становятся мелки,
когда листья прощально дрожат –
под конец октября, когда сдвинуты стрелки,
когда сдвинуты стрелки назад.

Дополнительный час у природы похитив,
что сказать за него я смогу –
под конец октября, в пору первых бронхитов?
Под конец октября – ни гу-гу!

В этот час вне времён надо быть молчаливым,
надо быть молчаливым, как дым.
Когда видишь, как горько берёзам и ивам,
только кашель один допустим.

Здесь слова – вне игры, здесь иные законы.
Встань, застынь у ночного окна –
ты увидишь, как дрогнут платаны и клёны,
как грустит о них та же сосна.

Лист раздольно летит над землею, а значит,
он с землёю простился почти.
И никто не вздохнёт, и никто не оплачет,
и никто не оплатит пути.

Окно открыто в дождь.
Черно лоснятся листья.
Конечно, я его
забуду... Но пока
дождю ещё не час,
шурша сонливо, литься –
недаром день-деньской
томились облака.

Окно открыто в дождь.
Четыре тихих слова.
А я ишу других,
не в шёпот чтобы – в крик!
Но, может, напишу
спустя полжизни снова:
«Окно открыто в дождь».
И – выключу ночник.

Не гудит трансформатор

Не гудит трансформатор.
Отчего не гудит?
Был он страстный оратор
и большой эрудит.

Был горяч он до жженья,
не страшился потерь,
но, увы, напряженья
не осталось теперь.

Он кишит муравьями,
он ушел в никуда,
он со всеми друзьями
разорвал провода.

Все скворчит и щебечет,
все лепечет и ржет –
он лишь слух не калечит
и ни йотой не лжет.

Выше, чем, бронзовея,
руку к небу воздеть,
эта мудрость забвенья –
не гудеть, не гудеть.

Изъян зеркал

Когда, омыт органной белизной,
парил над утром яблоневый цвет, –
рождая звук отчетливо-стальной,
легли на стол заколка и браслет.

Чуть скрипнув, шкаф открылся платяной.
О восковой сияющий паркет
как будто дождь ударил проливной –
так дробно раскатилась горсть монет.

За этот миг прошло немало лет.
Изъян зеркал: за гладью ледяной
вчерашних отражений нет как нет.

Но внятен знобкий шелест за спиной
наедине со звонкой тишиной,
особенно, когда погашен свет.

Это было б дождём –
если б не было снегом.
Он беззвучно рождён
нашим пасмурным небом.

Он летит с высоты –
и ложится под ноги.
Станут снова чисты
города и дороги.

Начинай, снегопад! –
час решающий пробил –
с обнуления дат,
обеления кровель.

...Возвращаемся вспять,
к зыбким сваям причала,
ибо завтра опять
все начнётся сначала.

Вновь среди белизны
лягут чёрные строчки –
ибо нет у весны
ни числа, ни отсрочки.

«Добрый день, имярек», –
обознался прохожий.
Я не тот человек –
видно, просто похожий.

Мы расстались навек,
только фраза осталась.
«Я не тот человек», –
ненароком шепталось.

Окунаешься в быт,
невозможный без дозы, –
эта фраза свербит
вроде старой занозы.

«Я не тот человек», –
констатируешь утром,
отправляясь в пробег
по рутинным маршрутам.

И бредя на ночлег
среди привычного хлама:
«Я не тот человек», –
повторяешь упрямо.

Я по горло игрой
вашей сыт, если честно.
Я не тот, а другой,
только кто – неизвестно.

Это сделал мой век,
искажающий лица.

Я не тот человек,
а к тому – не пробиться.

Меж слепцов и калек
повседневной пустыни:
«Я не тот человек», –
утверждаю поныне.

И в зеркальную гладь
всё гляжу исподлобья,
не желая признать
достоверность подобья.

Разрыв

Неважно, что там было раньше.
На кухне – никотинный чад.
Две тени в предрассветном трансе
глядят в пространство и молчат.

Открыли форточку под утро.
В нее лениво льется дым.
Потрескивает репродуктор.
Конфорки светят голубым.

Чай, что на стол был пролит, высох.
Коричневый архипелаг.
А информационный выпуск
под утро бодро-хрипловат.

Часы под утро убыстрились.
Так обостряются углы,
когда дрожат предметы, сияясь
до срока выступить из мглы.

И скоро станет ясно: тени
принадлежат ему – и ей.
Он встанет и, остатки лени
стряхнув, замнется у дверей.

Он бросит взгляд несмелый, краткий
на – постороннюю теперь.

Она смолчит. И он украдкой
откроет и закроет дверь.

Он будет исчезать в пространстве.
Она, не видя, вдаль смотреть.
Неважно, что там было раньше.
Неважно, что там будет впредь.

Частности

Как много подробностей в мире!
Нет двух одинаковых нот.
(Темно от ненастья в квартире.
За стенкой – не к месту – фокстрот.)

Да здравствуют частности! (Окна
дождинками испещрены.
Кусты сиротливо и мокро
чернеют у желтой стены.

Их листья, как лица, несхожи...)
Не верю в две капли воды!
(Клочок за тропинкой не скошен.
На нем серебрятся следы.

Но нет среди них и в помине
таких, чтобы были – след в след...)
Как много подробностей в мире!
Двух нот одинаковых нет.

(Открою окно. Папироса,
вертясь, понесется к воде...)
Предвижу возможность вопроса:
«А лес – за деревьями – где?»

Отвечу: «Вам яблоки – фрукты.
Вы к роду относите вид.
Читайте аршинные буквы.
А мне интересен петит.

Дотошность вам кажется нудной.
Часы для вас – точно праща.

А я буду стрелкой минутной.
Мы время дадим сообща».

Старая пластинка

Что происходит? Не знаю.
Просто сгущается мгла.
Медленно движется к краю
старой пластинки игла.

Скоро раздастся шипенье
ссадин досадных, потом
тихое грустное пенье
снова наполнит мой дом.

Голос со странным надломом
станет о голосе петь,
а за стеклом за оконным
будет темнеть и темнеть.

Голос, войди в мою душу,
вновь ее смыслом согрев;
не отрецись и не струшу,
страшный услышав припев.

Все порастает бурьяном.
Друг мой – уже в тишине.
Он только голосом странным
снова приходит ко мне.

Тьма, доходя до предела,
не преступает предел,
если ты знал это дело,
если ты правильно пел.

Ссорясь, крича, беспокоясь,
все мы окажется там;
но оставляем свой голос,
чтобы вернуться к друзьям.

Гефсиманский мотив

Эта зыбкая твердь,
эта слякоть ночных перекрёстков,

этот рельсов извив,
под фонарным лоснящийся взмахом,

эти псы вдалеке
с мелко-чётким, как буковки, лаем,

этот воздух сырой,
от которого карие в шоке,

этот голос впотьмах,
что бормочет несвязные строчки, –

это все лишь затем,
чтоб ты знал, чем закончить период:

и, упав на лицо,
умолял пронести эту чашу...

Окно отразилось в окне

Как слепит замороженный свет
и меня, и мгновенных прохожих!..
Все – везде. Непохожего нет.
Но другого такого же – тоже
никогда не изведает свет.

Интерьер отразился в окне,
а оно – в том окне, что напротив.
Два пейзажа плывут в глубине:
слева – праздничен, справа – уродлив..
Но окно отразилось в окне.

И купейный мирок наш – во всем.
Во вращенье стволов и домишек..
Все, что видим, в себе увезем,
но останется некий излишек:
все должно отразиться во всем

Автопортрет у ларька стеклотары

*Кто бы стал нести
унылой жизни тягостное бремя?
«Гамлет», акт III, сцена I*

To be or not... Язык на альвеолах...
Я этот вековечный милый вздор,
которому в спецшкалах каждый олух
прилежно внемлет, помню до сих пор.

Лет в десять я зубрил его ретиво,
с трагическим заламываньем рук.
To be or not – и вся альтернатива!
И в слове «not» – альвеолярный звук!

Благодаря Шекспиру и Минпросу,
по гроб твердить мне это суждено.
Но наяву подобному вопросу
меня смутить, по счастью, не дано.

Когда-нибудь я стану горстью пыли,
но чтил и чту единственный ответ:
to be – и точка. Безо всяких «или»!
To be – и все. Альтернативы нет.

Стремленье согнуть – чуждая причуда.
Блуждая мрачной бездны на краю,
я знаю, что я жив еще, куда
посуда есть, которую сдаю.

Черновик

1

Возьму белый лист
и взгляну на пустую бумагу.
Неужто опять
я тебя разыскать не сумею?
«Дорога длинна», –
говорил Одиссей Телемаку.
Ну что ж, что длинна!
Я попробую справиться с нею.

2

Вино ли виной,
что размыт твой кочующий образ?
Я – черная моль!
и не знаю, что можно добавить...
Но все же сознание
не тонет, не падает в пропасть,
цепляясь за сны,
за цитаты,
за ложную память.

3

Да-да, вспоминаю:
бродил возле тихого моря,
где ты мне являлась из пены –
всегда постепенно;
в том мире, казалось,
ни счастья не знали, ни горя,
лишь Солнце сливалось с Луной –
диаграммой Венна.

4

Воскресли слова, покатались!
Свисают вкосу
вдоль белой страницы,
тесня ее книзу,
как тучи!
Я снова гляжу на тебя –
на нагую, босую,
и очи все ближе твои –
и по-прежнему жгучи!

5

Но вот ты, босая, уходишь –
уходишь, босая,
сквозь пальцы
песок золотой
пропуская небрежно,
а дальше – пробелы,
лишь птичья взвизгивает стая,
в пустынной странице
отточием смазанным брезжа...

Способ существования

Пятница, и тринадцатое число.
Лестница, выходящая на чердак.
Помнилось что-то. Это уже прошло.

Терпкое, злое чувство: не то, не так.
Крошится раскуроченное стекло.
Воздух морозный, грубый, что твой наждак.

Стиснутый рот. Металлом ладонь ожгло.
Лай в отдаленье – это, конечно, знак.
Глаз отвердевший мглою заволокло.

Явственно только чувство: не здесь, не так.

Холмы Forever

*Памяти двух любимых учительниц –
Лидии Алексеевны Селищевой,
Ольги Андреевны Сотниковой*

Помню грустное утро
на пороге зимы
и дорогу, что круто
поднималась в холмы.

Той порой все дороги
не к веселью вели.
Веял запах тревоги
от осенней земли.

Светло-серые дали
открывались с холмов
провозвестьем печали
для высоких умов.

Робкий дождик пролиться
не посмел и зачах,
а пожухлые листья
догорали в садах.

Ах, как муторно мудрым,
как печально живым
видеть пасмурным утром
этот медленный дым!

Есть ветра меж ветрами,
что ведут себя так,
словно в щель меж мирами
задувает сквозняк.

Вот таким был и ветер,
увлекающий дым,
что пунктиром наметил
путь к пределам иным.

Устремляясь к основам,
он исчез в вышине,
но остался ознобом,
что бежит по спине.

Пустырь как цитата

По соседству с термитным кварталом
лег и в сон погрузился пустырь.
Он дарован зверушкам картавым,
ржавым тросам да травам густым.

Он изрыт, как ломоть, что оторван,
он изрезан небрежным ковшом.
По сырым и извилистым тропам
я не раз, спотыкаясь, прошел.

Оступлюсь – он тяжелые веки
приподнимет – и снова смежит.
Он не ищет любви в человеке
в этом веке; он просто лежит.

Он не знает ни поз, ни ужимок,
навсегда он решился уснуть.
Пусть впечатался след мой в суглинок –
он его не затронул ничуть.

Весь в репьях, выходил я к асфальту.
Было странно легко на душе.
Я его заучил, как цитату,
но откуда – не вспомнить уже.

Влажная тьма

Влажная тьма
охватила стволы и дома.
Значит, зима.
Значит, скоро воскреснет зима.

Влажная тьма...
Узнаю тебя, снежная тьма!
Прочь – кутерьма,
околесица, скудость ума!

Я без зимы
измотался, извёлся, устал.
Все, что взаймы
брал у прошлой зимы, – промотал.

В чем же итог
болтовни, злопыхательств, икот?
Новый виток?
Где же выход?
Не там ли, где вход?

Но захлестнёт
обещаньем планиды иной
медленный лёт
хлопьев снега
над спящей страной!

Всё сначала

Это было б дождём –
если б не было снегом.
Он беззвучно рождён
нашим пасмурным небом.

Он летит с высоты –
и ложится под ноги.
Станут снова чисты
города и дороги.

Начинай, снегопад! –
час решающий пробил –
с обнуления дат,
обеления кровель.

...Возвращаемся вспять,
к зыбким сваям причала,
ибо завтра опять
всё начнётся сначала.

Вновь среди белизны
лягут чёрные строчки –
ибо нет у весны
ни числа, ни отсрочки.

Транзит

Что остается в амальгаме,
когда смыкается земля?
Я отражаюсь вверх ногами
в крапленой карте февраля.

Здесь нет меня как такового,
есть штемпель смазанный: транзит.
По полю зренья бокового
бесшумно ящерка скользит.

Проселок II

Сегодня – солнце. Золотом пылинок
пронизан терпкий воздух и согрет.
Но кое-где сырой еще суглинок
послушно отпечатывает след.

Тень под ногами – черная на желтом.
Молчит земля, вобрав вчерашний дождь.

Но позади – ты только что прошел там –
сочится влага в лунки от подошв.

И это – взгляд. Так смотрит невидимка.
Что знает эта зрячая вода?
Земля молчит. Над нею, словно дымка,
сгущается безмолвное: «когда?».

Fin de siècle

Снег шуршит, словно «ша» в слове «финиш».
Над метафорой кружится снег.
Этот занавес ты не раздвинешь,
мой безумный, возлюбленный век.

Снег, не тая, ложится на лица,
а когда образуется наст,
слезы, лозунги, эта страница –
все в единый спрессуется пласт.

У «сбылось» есть синоним: «забыто».
Тишина – вот венец всех шумов.
Свет погашен. И книга закрыта.
И охотник вернулся с холмов.



КОНКУРС ИМЕНИ САЛИХА ГУРТУЕВА:
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ, ВСЕРОССИЙСКИЙ,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ



Поэтический конкурс имени народного поэта КБР Салиха Гуртуева, прошедший в столице Дагестана Махачкале уже в третий раз, в первый же год своего существования

успел перерасти региональный масштаб, превратившись во всероссийский. Нынешняя же география его участников вполне позволяет говорить и о масштабах международных. О том, как мероприятие удалось вывести на столь высокую орбиту, рассказывает председатель Дагестанского отделения Союза российских писателей и вице-президент Клуба писателей Кавказа Миясат Муслимова.

– Миясат Шейховна, расскажите, пожалуйста, об истории конкурса.

– Идея учредить конкурс имени Салиха Гуртуева возникла у нашего Дагестанского отделения Клуба писателей Кавказа и Союза российских писателей. Если конкретно – то у меня, как руководителя обоих отделений. Это произошло в год празднования восьмидесятилетия со дня рождения поэта в Нальчике, о чем тогда и было объявлено со сцены. Так мы отдали дань уважения человеку, написавшему пронзительные строки о любви к родной земле и много сделавшему для объединения литератур народов Кавказа. Поэтому названием конкурса и стали строки самого Салиха Султанбековича: «Есть родина, а значит – счастье есть». В наше время, когда расшатываются основополагающие нравственные ценности, особенно важно утверждать любовь к своей земле и истокам талантливым поэтическим словом. В итоге 21 октября прошла официальная церемония награждения победителей уже третьего Всероссийского конкурса. Он задумывался как региональный, но в первый же год мы получили много заявок не только со всей России, но и из других стран. Поэтому по ходу проведения первого конкурса статус был изменен, а судя по ежегодно получаемым работам из ближнего и дальнего зарубежья от русскоязычных авторов, уже пора конкурс перевести в статус международного. Конкурс позволяет популяризировать имя самого Салиха Гуртуева, творчество которого – гордость всего Кавказа. Еще одна задача конкурса – это позици-

онировать в общероссийском литературном процессе литературу народов Северного Кавказа, оказавшуюся вне публичного внимания, в то время как наши культуры богаты и сегодня яркими, достойными авторами. Нам важно поддерживать талантливых северокавказских авторов, и мы рады, что удаётся это делать. В прошлом году первое место получил, например, Зураб Бемурзов (Карачаево-Черкесия). Но для этого надо было добиться, чтобы конкурс стал авторитетным.

– И как же этого удалось добиться?

– Короткий путь к этому – определить состав жюри, в которое должны входить люди, определяющие современный литературный процесс, как своим талантом, так и активной литературной деятельностью. Так, жюри возглавила председатель Союза российских писателей Светлана Василенко, знаменитый прозаик, сценарист, поэт Виталий Молчанов (Оренбург). Вошли в жюри также известные поэты Геннадий Калашников (Москва), Алексей Остудин (Казань), Евгений Минин (Иерусалим) и другие. Состав жюри меняется каждый год. Призовой фонд тоже солидный для поэтических конкурсов: 30 тысяч за первое место, 20 тысяч – за второе и 10 – за третье.

– Раз уж, говоря о творчестве и культуре, не удалось избежать финансовых вопросов, то каким образом удаётся изыскивать средства на проведение конкурса?

– Хотя я планировала вкладывать личные деньги, Салих Султанбекович категорически не позволил мне это сделать. Средства выделила семья, за что ей огромное спасибо. Но мы надеемся, что сможем получить государственную поддержку и своими усилиями формировать фонд. В этом году нам уже впервые удалось за свой счёт пригласить гостей – членов жюри и победителей, оплатить проезд, проживание, питание и культурную программу. Это очень большая помощь для творческих людей. Награждение у нас всегда проходит очень торжественно, с участием министерств культуры, министерств по делам национальностей и министерства печати.

– Наверное, лучше всего о популярности конкурса скажет география участников. Какова она в этом году, когда конкурс проводится уже в третий раз?

– Конкурс стал популярным, и что мне особо дорого, в нём участвуют очень сильные поэты. География широка, в этом году участвовало более 60 регионов: Москва, Московская область, Петербург, Крым, Татарстан, Красноярск, Мурманская область, Самара, Ростов, Чеченская республика, Ингушетия, Удмуртия, Узбекистан, Белоруссия и другие. Количество участников увеличивается с каждым годом: 46, 60, 80. У нас нет большой рекламы, но мы обновили сайт Клуба и планируем активнее развивать его. За числом мы особенно не гонимся, нам важно, что сильнейшие поэты участвуют в нём.

– Кто стал победителем нынешнего конкурса?

– В этом году победителем стала Анна Долгарева из Москвы. Это одна из самых талантливых и признанных звезд нашей поэзии. Второе место у Киры Османовой из Петербурга, третье место разделили Сергей Тенятников (Германия-Россия), Ефросиния Капустина (Петербург). Отмечу, что наши северокавказские авторы довольно инертны и вялы. Информацию я дала всем отделением Клуба писателей Кавказа, но им надо пропагандировать этот конкурс на местах.

– Наверняка вы не планируете останавливаться на достигнутом?

– На следующий год мы планируем издать сборник лучших работ участников трёх конкурсов, и это будет книга прекраснейших лирических произведений на гражданскую тему. В этом году, несмотря на пандемию, приехали все члены жюри и два победителя, остальные были на дистанционной связи.

– Известно, что параллельно с этим вы учредили еще и Всероссийский конкурс переводчиков.

– Да, мы в этом году учредили еще и Всероссийский конкурс переводчиков имени Эффенди Капиева «Резьба по камню», с таким же призовым фондом 60 тысяч рублей. Инициатива принадлежит нашему отделению Клуба писателей Кавказа, а спонсорскую помощь нам оказала благотворительная организация лакской интеллигенции «Дарачи» («Подснежник»), которая и взяла на себя все расходы. Таким образом, мы подвели итоги двух конкурсов. В конкурсе переводчиков победила переводчица из Америки Елена Черткова, представившая переводы с цыганского, второе место у А. Костерева из Петербурга за перевод с армянского языка, а третье место у Любови Шубной из Ставропольского края и Галины Булатовой из Казани за переводы с лакского языка. Должна подчеркнуть, что жюри проверяет зашифрованные мной работы, никто не знает, чьи они, при этом формируются лонг-лист и шорт-лист, то есть всё в высшей степени объективно. Иначе авторитет конкурса можно растерять, а у нас задача только наращивать его. В этом году к церемонии награждения приурочили и поэтический семинар для молодых поэтов, он организован приехавшими членами жюри издателями и культурегерами Аллой Пospelовой и Арсением Ли, которые пригласили самых известных мэтров перевода и поэзии Виктора Куллэ (Москва) и Ирину Евсу (Харьков) для дистанционного семинара. Так что формат проведения итогов конкурса меняется, это уже литературные фестивали, широко освещаемые СМИ, в том числе федеральными: в частности, о нас вышла статья в «Независимой газете», в приложении «Экслибрис». Также в конце ноября у нас ожидается ещё два значительных литературных события: северокавказская международная книжная ярмарка «Тарки-Тай-2021» и всероссийский семинар-совещание российских писателей «Мы выросли в России».

Беседовал Асхат Мечиев



Родился 8 февраля 1968 г. в с. Чегем-1 КБАССР. Окончил заочное отделение Литературного института им. А. М. Горького в 2001 году. Работал в газете «Баксанский вестник», внешкором газеты «Экспресс-Нальчик», журналистом и менеджером в журнале «Prospect-SK», в отделе рекламы Государственной Телерадиокомпании ГТРК КБР (филиал ВГТРК), региональным представителем журнала «Kavkaz Air» в КБР. Долгое время работал старшим редактором

журнала «Литературная Кабардино-Балкария».

Опубликованные произведения:

«Прощальный поцелуй лета». Повесть. (Журнал «Литературная Кабардино-Балкария», г. Нальчик, 1994 г.)

«Осенний этюд в потоках воображения, разбавленных пивом». Рассказ. (Журнал «Литературная Кабардино-Балкария», г. Нальчик, 1995 г.)

«Астроном». Повесть. (В журнале «Литературная Кабардино-Балкария», в 2000 г., а также в литературном интернет-журнале «Молоко» содружества литературных проектов «Русское поле». г. Москва, в 2001 г. И в сборнике издательства «АСТ» «Россия молодая» в серии «Проза резонанс», г. Москва, 2004 г.)

«Песни северных кавказцев». Сборник новелл, опыт современного фольклора. (Журнал «Литературная Кабардино-Балкария», г. Нальчик, 2002 г.)

«Реквием по нарисованной жизни». Рассказ. (В журнале «Литературная Кабардино-Балкария», г. Нальчик, 2007 г. и в проекте фонда СЭИП и издательской группы «АСТ» – сборник северокавказских авторов «Война длиною в жизнь», г. Москва, 2007 г.)

«Правила испанской любви». Повесть. (Литературный журнал «Южная звезда», г. Ставрополь, 2010 г. Литературный журнал «Ковчег», г. Ростов-на-Дону, 2011 г.)

Живёт в г. Баксане.

ЯН СТЕН

(Из повести «Правила испанской любви»)

В семье камазиста Сараби, который из левобережной части села, случилась история. Вообще-то, камазистом его называли теперь по

привычке, потому что к периоду, когда случились эти события, он ездил уже на большом и красивом иностранном тягаче. А начинал он, да, со старенького «Камаза», но была в Сараби жилка, и он сумел поставить дело так, что жил теперь хорошо. За это его «умение жить» Сараби уважали и хвалили. Может быть, и завидовали. За то, что скотины у него было много: коров дойных и бычков на привязи, и овец в загоне. А рядом на подворье птицы всякой, индеек, кур, уток и цесарок разных там, было столько, что сама хозяйка, жена камазиста Сараби, частенько теряла ей счёт. А ещё и магазинчик был у него тут же при дворе, где за прилавком попеременно торговали дочери камазиста Сараби. Словом, крепкий и основательный мужик был этот Сараби, хоть и молодой ещё.

И вроде всем он был доволен: и автомобиль импортный легковой в гараже, и в доме мебель самая современная; а ещё телевизоры в комнатах с полстены величиной; компьютеры в комнатах и телефоны у всех домочадцев дорогих и новых моделей – в общем, всё, что положено, и даже слегка более того. И особая гордость состояла в том, что заработано это было неустанным трудом всех членов большой семьи. Но – была-таки одна проблема. И весьма кусачая. Четырех дочерей родила ему жена, а с сыном не получалось.

По этой причине Сараби, бывший по юности хорошо известного односельчанам нрава, в застольях теперь часто впадал в хмельное уныние, жаловался на несправедливость судьбы, и запросто мог внезапно ударить собеседника, если тот зазевается. Не со зла, конечно, и с бурными потом извинениями. Оправдываясь тем, что вынужден жить всё равно что в женском общежитии. И что две старшие вышли замуж тут же, неподалёку, поэтому бабского поголовья в семье не убывает. А на кого он оставит такое состояние? И зачем он его, спрашивается, наживал? И после подобной постановки вопроса собеседники исполнялись к нему искреннего сочувствия и были особенно начеку.

Однажды заболела его младшенькая, семнадцатилетняя школьница Росита. Незаметно как-то заболела. То есть прошло какое-то время, прежде чем в семье обратили внимание, что с ней происходит что-то неладное. Бывшая всегда живой и весёлой, она теперь стала помногу печалиться без видимых причин и молчать. А потом и внешне обнаружили поводы для тревог – красивая девочка осунулась как-то быстро, поблекла и сникла.

Поначалу предположили, что дело в учёбе, и принялись успокаивать её, чтобы не усердствовала и не переживала, что всё сделают, и школу она закончит на отлично, и любой вуз ей по желанию устроят. Потом поняли, не в этом причина. Ей становилось хуже, причём по дням, буквально на их глазах. Вскоре аппетит потеряла. Потом пропал ночной сон. И так, в бессилии наблюдая эти ухудшения и всё ещё боясь говорить об этом вслух, родные стали

приходить к выводу, что их любимица вообще-то серьёзно больна.

Так и пошло, и чем дальше, тем хуже. Бывшая до этого самостоятельной и очень даже успевающей ученицей, Росита перестала теперь хоть что-то понимать на уроках, а потом и вовсе участились её пропуски по болезни. Болезни неизвестной и пугающей. Мать плакала, Сараби боялся и злился от бессилия, сёстры с трудом скрывали панику. Конечно, кинулись к врачам, и к знакомым (через городскую родню), и к чужим. Те прописывали ей какие-то препараты, но ничего не помогало. Живая, прелестная, радостная девочка за какие-то пару месяцев ослабела совершенно, стала вялой и тоскующей. Похудела так, что ввалились щёчки, а под некогда такими искристыми и улыбчивыми глазами теперь залегли глубокие тени. Вскоре она совсем перестала ходить в школу, а потом уже лишь после настойчивых уговоров вставала с постели или хоть что-то через силу ела. Врачи объяснили, налицо все признаки тяжелейшего депрессивного синдрома.

Откуда было взяться этой самой депрессии, родные искренне не понимали. Какая депрессия, – изумлялись и даже возмущались они, – когда девочка с младенчества была окружена всеобщими заботой и любовью? Но и без этих растерянных недоумений было странным появление такой болезни в их большой и жизнерадостной семье. Ведь если следовать общепринятому мнению, то депрессия и прочие нервные заболевания чаще всего сопутствуют натурам изнеженным и избалованным, тогда как младшую дочку камазиста Сараби никак не получилось бы причислить к подобному разряду. То, что нежная, это скорее всего, но никак не неженка, потому что по негласной семейной традиции с ранних лет была приучена к труду. Причём нелёгкому, ежедневному и дисциплинированному труду, на котором и держалось благосостояние большой семьи. Тогда что же происходило?

Возили её в город, в одну частную клинику, которую усиленно рекламировали по телевизору. Там ведущие специалисты клиники затребовали кучу анализов, долго её обследовали, а потом назначили массу процедур и выписали много лекарств. Возили туда Роситу недели три и ухлопали кучу денег. В результате ей стало заметно хуже, чем даже было. Так что Сараби в сердцах высыпал все эти лекарства в мусор и сказал, что ноги их больше не будет в этой клинике.

Тем временем здоровьем девочки были уже озабочены вся близкая и дальняя родня, соседи и знакомые. Бабушка Роситы, мать Сараби, перебралась на это время из своего родного дома к сыну и не отходила от внучки. Братья и сёстры Сараби с жёнами, мужьями и детьми теперь дневали и ночевали у них. Жена Сараби едва успевала отвечать на ежедневные многочисленные звонки, а дочери мобилизовали все свои силы, сняв с матери заботы по хозяйству и магазину, и сами поочередно дежурили у постели Роситы. А одна пожилая соседка однажды

сделала осторожное предположение, что причиной всему может быть сглаз – ведь девушка была очень хороша собой. Она тут же бросила все свои домашние дела, прибежала к жене камазиста Сараби и поделилась с ней этим своим осторожным предположением. То есть сказала ей, что это точно сглаз, а в данном случае сглаз очень сильный, и что ничего другого тут просто быть не может!

В тот же вечер измученную девочку отвезли к местному мужчине-аза¹, который что-то там написал на бумажке каким-то необычным карандашом, бумажку эту бросил в банку с водой, отчего буквы расплылись и растворились, и наказал растирать девушку столько-то и столько-то раз в сутки. И заверил, что теперь всё будет хорошо. От тысячерублёвки он не отказался. Но, разумеется, хорошо не становилось. Через пару дней выпивший Сараби приехал к этому мужчине-аза и потребовал объяснить, почему девочке не становится лучше. Мужчина знал Сараби с юности, поэтому препираться счёл лишним и с большим сочувствием принялся отговариваться, что раз так, то значит, его способности на девочку не распространились. И настойчиво порекомендовал отвезти её в соседнее село к такой-то женщине, которая во многом даже сильнее него. И предложил вернуть тысячу рублей, но Сараби посмотрел на него так, что мужчина-аза решил больше ничего не предлагать.

Решено было использовать и этот шанс. На следующий день поехали в соседнее село. Долго, почти три часа ждали, пока до них дойдёт очередь, так как посетителей у женщины-аза было много, а некоторые были даже из соседних республик и областей. А когда, наконец, вошли в комнату для приёма, женщина взглянула на Роситу и сказала, что девочка больше тут не нужна, и пусть её отведут отдыхать. С аза осталась мать. И потом рассказывала, что никогда ещё за всю свою жизнь так не пугалась, как в той комнате наедине с этой женщиной. Во-первых, как только вывели Роситу, женщина уснула прямо так, сидя за столом. Мать Роситы растерялась и молча ждала, прикусив губу. Потом женщина открыла глаза и, рывком схватив лежавшую тут же ручку, принялась быстро и не глядя писать какие-то закорючки на чистых листах перед собой. И всё это она сопровождала совершенно бессмысленным бормотанием. А дальше и вовсе повела себя так, что мама Роситы не знала, что и делать. Бумага на столе стала рваться в клочья под напором острой ручки, зрачки у женщины забегали и стали закатываться под веки, а бормотание стало громче и приобретало едва уловимые понятные смыслы. Мама Роситы теперь была окончательно перепугана. И тут женщину затрясло, она принялась глубоко и мучительно стонать и выдавила из себя несколько раз: «Сес, сесыжыр

¹Аза – знахарь, маг, экстрасенс.

мафІэм! Лъагыныгыз мафІэм сес!»². Потом вроде бы всё утряслось, женщина пришла в себя, зрачки вернулись на место, она дружелюбно и несколько виновато взглянула на маму Роситы, устало вздохнула и грохнулась со стула прямо на пол. Как оказалось, в глубокий обморок. Забежали трое мужчин-родственников, по всему, привыкшие к подобному обороту, молча и быстро подняли женщину, уложили её на диван у стены и так же молча выпроводили совершенно оторопевшую маму Роситы. Наверное, имело смысл подождать, но, услышав взволнованный рассказ супруги, Сараби заскрежетал зубами и приказал всем немедленно садиться в машину. Так и уехали ни с чем.

Потянулись мрачные тревожные дни. Не желая говорить об этом вслух, сопротивляясь самой этой мысли, в семье стали приходиться к выводу, что дела вообще-то очень плохи и что девочка их по сути угасает. Это было отчаяние. Прятались и плакали в уголках и ночами в подушку не только мать и сёстры и остальные женщины, но и Сараби, который к тому же всё чаще стал прикладываться к бутылке. И в этом отчаянии они готовы были ухватиться за любой шанс, пусть и потребовало бы это от них распродать всё большое хозяйство и пойти просить милостыню. Так, ни много, ни мало, убеждали они себя.

Потом приехал один образованный родственник из города, который очень много знал. Из массы советов и рекомендаций, исходивших отовсюду, совет этого родственника был, во всяком случае, наиболее дельным, то есть простым. «Что вы возите дочку по всяким неизвестным местам? – пристыдил он. – У меня в «Дубках»³ есть хороший знакомый врач». – «Что?! Чтобы я свою дочь – и в Дубки? – возмутился Сараби. – Не бывать этому!» Но родственник принялся терпеливо и убедительно объяснять, что девочке нужен всего-навсего хороший психиатр, а для этого вовсе не обязательно определять её в больницу. Что ей нужно серьёзное обследование, а не эти разные шаманские штучки. Однако Сараби упёрся, да и жена встала на его сторону. Тогда родственник принялся звонить и подолгу разговаривать с разными людьми, а потом сказал: «Ну, хорошо, не хотите в Дубки, давайте в Кисловодск. Есть там один толковый врач».

В Кисловодск, где в одном из санаториев практиковал вроде как хороший доктор, имеющий отзывы, собрались и поехали следующим утром. Доктор оказался не просто доктором, а настоящим профессором, то есть доктором наук. Так значилось на табличке на двери кабинета. И разговаривал он так, как должны разговаривать настоящие профессора, разве что не картавил. Однако выглядел он совершенно

² Горю в огне, сгораю в любовном огне!

³ Дубки – микрорайон на окраине Нальчика, в котором расположен Республиканский психоневрологический диспансер.

не по стандарту. Во-первых, он был довольно молод, немногим за сорок. Во-вторых, он был весьма приятной и даже несколько брутальной наружности – этаким высокий симпатяга-брюнет азиатского типа с выпирающей из-под верхней пуговицы рубашки и из-под рукавов халата буйной растительностью. В-третьих, очков он не носил совершенно. Но более всего потрясало его имя, Евгений Геннадьевич Аштоц. Всеми этими обстоятельствами Сараби с женой и старшей дочерью были заметно подавлены, поэтому в основном молчали и терялись, разглядывая в аквариуме глупых пучеглазых рыбок, пока профессор Аштоц углубился в бумаги – анамнез и прочие выписки, которые они привезли с собою из Нальчика.

Затем приступил к ним. Мучил долго. Терпеливо беседовал с Роситой, которой этот разговор давался с трудом, показывал ей какие-то замысловатые картинки, заставил собраться и ответить на длиннющий тест, по ходу разъясняя обозначенные в нём вопросы, смотрел её веки и глазное яблоко, даже температуру померил. Затем дал выпить какую-то таблетку и выпроводил её с сестрой в коридор, а сам принялся расспрашивать родителей, по большей части мать – про детство девочки, про перенесённые болезни, про школу, про её склонности, про подружек, про семейный уклад, в общем, про многое. После чего он порекомендовал им отправиться где-нибудь пообедать и сказал, что ждёт их ровно через три часа. И уселся за компьютер.

Как и было велено, спустя три часа они вновь сидели в его кабинете. Профессор Аштоц изящно, нога на ногу, воссел в своё кресло, и провозгласил: «Значит так, слушайте меня внимательно!.. – Они обратились в слух. – Девочка ваша совершенно здорова! В этом даже не сомневайтесь. Никаких оснований для паники попросту нет». И Сараби, и жена, и старшая дочка не просто вздохнули, а разом почувствовали, как отлегло от сердца что-то громадное, тяжёлое и удушливое. Сараби даже заёрзал на стуле от трудно скрываемой радости, а у матери на глаза вмиг навернулись слёзы. «То, что с ней происходит, можно рассматривать как естественный процесс, связанный с её возрастом. И ещё с особенным положением в семье, с повышенным к ней вниманием, в том числе к тому новому типу внимания, которое для неё, так сказать, пока ещё чрезвычайно волнительно, словом, с этими и со многими другими факторами выхода из пубертатного периода, и в связи со всем этим с некоторой экзальтацией, – скрестив пальцы и глядя поверх них, продолжал то ли объяснять, то ли рассуждать профессор. – Вы меня понимаете?» Все трое оживлённо закивали, хотя не понимали его совершенно. Да и не в словах было дело, а в надежде, которую он им вернул и продолжал возвращать своим уверенным спокойствием и железной несокрушимостью профессиональных и абсолютно неведомых им терминов.

Так же продолжая говорить, профессор поднялся и, подойдя к Росите, взял её слабую исхудавшую руку за запястье и склонился, прощупывая пульс. «Всё это, конечно, пройдёт, но в силу совокупности факторов у вашей сеньориты Роситочки процесс приобрёл весьма болезненный характер. Весьма. Но она, конечно, справится. Я ведь прав, ты же справишься?» Росита опустила взгляд и едва заметно кивнула.

– М-мда. А кстати, кто-нибудь из вас интересуется живописью? – повернулся он к ним, продолжая держать на весу её слабенькую ручку. Живописью никто не интересовался.

– Жаль, – произнёс на это доктор и продолжал, глядя теперь почему-то на старшую сестру задумчивым и даже отсутствующим взглядом: – Очень жаль... Был, знаете ли, такой совершенно замечательный мастер, Ян Стен...

Старшая сестра скопсилась на мгновение в сторону родителей, явно смущаясь под его черноглазым взглядом. Впрочем, он будто смотрел не на, а сквозь неё, и будто совершенно не видел её, уйдя в свои рассуждения.

– М-мда, Ян Стен, голландская школа, потрясающие шедевры! Расцвет Возрождения, торжество жизни в её подлинном пробуждении. Конечно, у него и некоторая вульгаризация сюжетных решений, и отчасти даже сарказм, но ведь и в реальности не всё так серьёзно, как того хочется нашему склонному к пафосу воображению. Но краски! Но жизнь, сочно льющаяся с полотен! Шедевры. Совершенно, знаете ли... А в общем-то, как вас зовут?

Старшая сестра даже замешкалась слегка от неожиданности.

– Меня?

– Да, да, вас, – уточнил профессор, снова обернувшись к Росите. – Ну, что ж, пульс, конечно, слабоват, но не беда. Не беда, не беда... – нараспев повторил он.

– Анета, – назвала своё имя старшая.

– Очень хорошо, Анета, – констатировал Аштоц, возвращаясь в кресло, – это даже замечательно, что Анета. А скажите-ка мне вот что, уважаемая Анета, вы интернетом пользуетесь?

– Я?... – снова переспросила Аннета. – Да, пользуюсь.

– Угу, – глубокомысленно утвердил доктор и даже призадумался на минуту. И в этой задумчивости повторил пару раз вслух: – М-да, Ян Стен, Ян Стен...

Потом, словно очнувшись, вновь вернулся к присутствующим.

– Значит, вы меня поняли? Никаких поводов для паники. Девочка совершенно здорова. Ну, скажем, практически здорова. А то, что мы наблюдаем, это всего лишь лёгкое недомогание. Чтобы было понятней, вот примеры: существует тяжёлая пневмония, существует грипп, а существует и лёгенький насморк. Так вот у девочки всё равно, что грипп.

Обычный банальный грипп. Ясно? Который мы обязательно вылечим. Теперь он говорил вполне понятные вещи.

– Значит, мы поняли друг друга, так? – продолжал профессор, принявшись записывать что-то на небольшом листке бумаги. – Лечение, разумеется, нужно, я вам тут кое-что прописал. Вот, попьёте, попринимаете, лекарства обязательно помогут. Но знаете, что ещё? – он внимательно оглядел их снова, и старшей сестре Анете вновь показалось, что особенно пристально он вглядывался в неё. – Вы должны знать, что бывают такие специфические жизненные ситуации, когда дело не в соматических факторах, а кое в чём другом, в совокупности, так сказать, и в некотором эмоциональном поводе, который может вызвать подобную реакцию. Вы понимаете меня? Жизнь, знаете ли, буйство глаз и полове чувств. Глубочайшая интроверсия, как фактор застревания. А чтобы процесс освобождения пошёл, одними таблетками не обойтись. Лекарства действуют на верхки, а корешки весьма и весьма глубоко. И чтобы процесс пошёл, необходимо, чтобы тайна подверглась дискредитации... М-да, – он снова, теперь уже с долей скепсиса оглядел их и заметил ту растерянность, с которой они внимали его короткому и специфическому спичу. Лишь Росита почему-то оживилась и с некоторым даже блеском в измученных глазах внимательно всматривалась в него и слушала. – М-да, – повторил он, – в общем, вот что, дорогие папаша и мамаша, я вам советую радикально сменить обстановку. Хотя бы на время. Свозите девочку куда-нибудь, хорошо бы на море, туда, где сейчас тепло и солнечно... Кстати, многоуважаемый, – обратился он так же неожиданно к Сараби, – вот вы, когда учились в школе, был у вас лучший друг?

Сараби настороженно, исподлобья посмотрел на врача, кашлянул для солидности, подготовился и ответил:

– Да.

– Вот как хорошо, – заметил Аштоц, – друг... М-да. Знаете, хороший друг, это благо для человека. Ведь порой нам кажется, особенно в юности, что наши друзья нам ближе, чем даже родня. Да, да, мне тоже так казалось. Был и у меня близкий товарищ, очень близкий, крепко мы с ним дружили. Знаете, никаких секретов друг от друга не было, ведь другу можно было открыть то, что никогда не сможешь рассказать родителям или даже братьям и сёстрам. Ведь правда, уважаемая Анета?.. Во-от... А теперь как-то всё слишком по-взрослому. Мой друг детства и юности живёт в Кемерово, там у него семья, работа, раз в год, а то и реже созваниваемся... М-да, слишком всё по-взрослому теперь, слишком... М-да... Но вот в возрасте Роситы у нас ведь у всех есть самые близкие друзья. Или подружки. Есть же?

Росита молча кивнула.

– Ладно, вот мой номер телефона и рецепты... Ну-ка уберите сей-

час же! Ни в коем случае. Никаких денег! Достаточно того, что лекарства я вам выписал недешёвые.

Он проводил их не только из кабинета, но и до фойе санатория, а напоследок потрепал за щёчку Роситу и крепко пожал руку Сарраби. «Обязательно держите меня в курсе и звоните!» – наказал на прощание.

Домой ехали растроганные и молчаливые. Лишь потом уже с удивлением вспомнили, что на обратном пути Росита, впервые за долгие недели, несколько оживилась и даже с видимым интересом разглядывала убегающие в окошке пейзажи. Сарраби с супругой это напомнило слова профессора о смене обстановке. Поздно вечером, уставшие, они наконец уединились, и Сарраби высказал мысль, а почему бы и вправду не свозить дочку куда-нибудь. И почему они раньше не додумались до этого?

Жена принялась горячо заверять его, что сейчас думала о том же. И в их разговоре, вдохновлённом новой надеждой, зазвучали слова «море», «Турция», «заграница»...

Не спала старшая, Анета. После того как все вечерние дела были переделаны и домочадцы разошлись по комнатам, она, соблюдая повышенную секретность, позвала с собою в магазин среднюю сестру Зарету и там рассказала ей все детали сегодняшнего визита к врачу, и то, как более чем странно вёл себя этот профессор. Как мучил сначала маму с папой, а потом к ней почему-то «пристал» с какими-то непонятными расспросами. Зарета живо заинтересовалась и потребовала, чтобы старшая вспоминала всё до мельчайших деталей. «Е-лей, нэ къуимыщауэ пІэрэ?»⁴ – игриво заметила она. Но Анета отмахнулась: «Не говори глупостей, всё это неспроста. Зачем он папу про друга расспрашивал, о своей детской дружбе вспомнил?..»

Они включили компьютер и задали поиск. Поначалу даже увлеклись разглядыванием выданных разных картинок. А потом Анета замерла и в сильном волнении даже схватила сестру за руку. Перед ней на мониторе была картинка, которая, как вспышка, восстановила пережитую сегодняшним днём сцену – на цветной репродукции средневековой картины какой-то полный человек в старинном плаще, в шляпе с высокой тульей, по всему лекарь, почтительно склонившись, осторожно и с участием держал в своей ладони запястье молодой и, как видно, измученной женщины. «Jan Steen, Love Sickness», – прочитали они и тут же задали перевод: «Ян Стен, Любовный недуг».

Они невольно посмотрели друг дружке в глаза и обе, не сговариваясь, вскинули ладони ко рту: «А-ах! Как же я...» – вырвалось у Анеты.

⁴ «А может, он на тебя глаз положил?»

«А между прочим, я догадывалась», – сказала Зарета. «Догадывалась, – передразнила Анета, – если бы догадывалась, то сказала бы. Хотя бы мне». – «Я хотела сказать, но мне...» – «Да подожди ты! – в нетерпении перебила её старшая сестра, – друг... самый близкий др... Кто у Роситки лучшая подружка? Ты знаешь? Кто?» – «Точно! – прошептала потрясённая Зарета, – знаю, очень хорошо знаю! Е-Гей, теперь до завтра не усну». – «Уснёшь, – требовательно даже ответила Анета, – и я усну. Потому что надо. А завтра...»

Напоследок обе сестры ещё раз посмотрели на монитор и невольно залюбовались репродукцией старинной картины голландского художника. Теперь обеим оставалось с нетерпением дожидаться завтрашнего утра. Так они и расстались – Зарета ушла в дом, а Анета поспешила через две улицы к семье, чтобы успокоить своего молодого супруга, которого и без того стали раздражать её участвовавшие путешествия в отчий дом, и он даже высказал ей недавно, что жениться надо было всё-таки на девушке из другого села, и чтобы подальше.

Итак, осуществить задуманное в родительском доме было слишком рискованно и неуместно. Поэтому решено было перенести последнюю фазу операции в дом новой семьи Анеты. Для начала Зарета дождалась, пока младшенькая больная сестричка проснётся, и прошла к ней посидеть и поведать. А за пустым необязательным разговором вдруг спохватилась и даже похлопала по карманам халата, и призналась, что снова не помнит, куда подевала свой сотовый. Роситочка слабо улыбнулась: «Вечно ты у нас самая рассеянная. Возьми мой – пройдишь, поищи по сигналу». Таким образом, у сестёр-заговорщиц теперь оказался номер телефона лучшей подружки Роситы.

Встреча была назначена ближе к полудню. Аксана, так звали эту лучшую подружку, ответила на звонок и, конечно, тут же согласилась прийти к Анете домой, потому что та её взволновала тем, что дело серьёзное и что касается оно здоровья их всеми любимой Роситочки. Перед самой встречей Анета ласково выпроводила мужа, сказав, что у них сейчас будет серьёзный женский разговор. Муж на это ответил, что эти две вещи – женщина и серьёзный разговор – вообще-то, не совсем совместимы, и оставил сестёр.

С первых же слов разговора юная одноклассница и подружка Роситы поняла, что попала в западню и пожалела, что так наивно поддалась на обман и пришла на эту встречу. А обе молодые хищницы, заполучив в своё распоряжение эту совсем ещё юную неопытную девочку, не собирались выпускать её из рук, не получив от неё желаемого. Силки были расставлены, путь к отступлению отрезан, и Аксаночка, раздражённая ещё и тем, что так глупо попала, тут же ощетибилась и заявила, что знать ничего не знает, а даже если бы и знала, то всё равно не сказала бы, потому что Росита её лучшая подружка и она её ни за что

не предаст! И сказала, что ей вообще пора домой.

Такой первоначальный оборот дела тут же вывел из себя младшую сестру, Зарету, и та стала переходить на довольно резкий и даже приказной тон. Разумеется, это вовсе не напугало юную школьницу, а ещё больше распалило её, и она заявила, что теперь точно ничего им не расскажет, пусть хоть прямо сейчас режут её на куски. Это её последнее заявление окончательно вывело из себя Зарету, и она приготовилась уже со всей силой вспыхнувшего гнева приступить к этой маленькой дурочке: «Тхэ кьыджепІэnumэ нтІэ! Еплыт, кьыджумыИ!»⁵

Но тут вмешалась Анета. Она неожиданно осадила младшую сестру и заговорила вдруг тихо и очень грустно: «Оставь её, Зарета! Девочка права. Будь я на её месте, я бы тоже ни за что не выдала свою лучшую подружку. Я даже рада, что у нашей Роситочки такая замечательная подруга. Упсэу, тЫсэ!»⁶ В воцарившемся молчании она села рядом с юной гостьей и вдруг взяла её ладонь в свои руки. «Дай я поддержу их, – попросила она растерявшуюся девочку. – Вот так. Какие мягкие и нежные. И у Роситочки такие же. Обещай, что когда всё... когда всё кончится... в общем, обещай, солнышко моё, что будешь приходить к нам в гости! Чтобы я смогла вот так же поддержать твои ручки в своих ладонях... И чтобы они напоминали мне мою самую... Обещай, пожалуйста!» И взглянула ей в глаза. И в глазах этой молодой женщины Аксана увидела заблестевшие слёзы. «Что, когда всё?.. Почему обещать?..» – совсем растерялась она. Признаться, в не меньшей растерянности пребывала и вторая сестра, в недоумении наблюдая за происходящим.

«Ты знаешь, как мы живём эти вот уже два с лишним месяца? – так же грустно продолжила Анета. – Это уже не жизнь. В нашем родном доме больше не слышен её звонкий смех, её сладкий голосочек, её остроумные шутки. За эти два с небольшим месяца лет на пятнадцать постарели не только наши папа с мамой, но и мы, её родные сестры. Мы уже не спим, и кусок в горло никому не лезет. Мы только плачем. Спрячемся друг от дружки, и каждая тихо плачет в своём уголке». И действительно, два ручейка слёз заструились уже по щекам самой Анеты. Видя и слыша такое, немедленно расплакалась и Зарета. Искренне, потому что сестра её говорила сущую правду. И тут не выдержала и заплакала вместе со всеми и юная Аксаночка.

«Ты же знаешь, лапочка, – продолжала со слезами Анета, – куда мы только её не возили, кому только не показывали – всё без толку. А знаешь, почему? Потому что никто не знает причины страшной болезни нашей Роситочки...» И снова в возникшей паузе все трое пуще

⁵ «Клянусь, что скажешь! Попробуй только не рассказать!»

⁶ «Спасибо тебе, милая!»

прежнего дали волю слезам, а сидевшая всё это время на кровати Зарета и вовсе упала лицом в подушку и тихо зарыдала.

«Вчера у нас был последний шанс, – вновь, всхлипывая, заговорила Анета, – мы отвезли её в Кисловодск к очень сильному профессору. И он прямо сказал нам, что только он сможет вылечить нашу девочку, но для этого он должен точно знать причину заболевания. Понимаешь, солнышко? Он о чём-то догадался, потому что он очень умный профессор, но наша Роситочка так ему ничего и не рассказала... И тогда... И тогда... Он сказал, что если сейчас немедленно не приступить к лечению, то... то... то Росите осталось жить считанные... считанные...» И, не в силах более сдерживаться, Анета зарыдала в голос. На кровати сотрясалась от таких же глухих рыданий Зарета. Окончательно подавленная Аксаночка немедленно присоединилась к общему плачу.

Первой взяла себя в руки, конечно же, Анета. Она утёрла кончиками платка глаза и лицо и снова обратилась к девочке: «Прости, Аксаночка, что вмешиваем тебя в наше семейное горе! Ты права, не надо было нам обращаться к тебе. Ведь ты, наверное, обещала никому ничего не говорить. Прости! Мы как-нибудь тогда сами... сами попытаемся справиться со своим горем...».

«Но я ведь... но я ведь поклялась е-е-е-й...» – вновь сорвалась в плач Аксана. Анета тем временем сняла с головы платок и, совсем как маленькую, принялась утирать плачущую школьницу. Поднялась, утираясь, и Зарета. «Ну, что ж, поклялась, так поклялась. Сама, солнышко, делай свой выбор. Хочешь – держи свою клятву, но тогда мы все потеряем Роситу...»

После этих слов наступила долгая, очень долгая, бесконечно долгая пауза. Юная школьница сидела, закрыв лицо руками. Обе сестры обречённо глядели в пол, не забывая следить мгновениями за девочкой. Вдруг она отняла ладони от лица и обречённо произнесла:

– Если вы меня обманываете...

– Милая, – не дала ей договорить Аннета, – кто же шутит такими вещами?

– Ну, хорошо! – выпрямилась девочка и положила ладони на колени. – Только обещайте мне, что Росита никогда не узнает, что я её предала!

– Ты не предаёшь её, – ответила Аннета, – ты её спасаешь. Ты ещё такая юная, но сейчас перед тобой настоящий взрослый выбор – пожертвовать чем-то большим ради спасения любимого человека... Мы клянёмся тебе, что Росита никогда ничего не узнает!

– Яаллыхь, кьысхуэгъэгъу! Яаллыхь, кьысхуэгъэгъу!⁷ – воздела

⁷ «О Аллах, прости меня!»

очи девочка и заговорила: – Вот уже полгода, как Росита полюбила Азамата К-ва из правобережной части села, единственного сына Ахмеда К-ва. Она даже мне, своей лучшей подружке, не рассказывала ничего целых три месяца. И только, когда почувствовала, что начинает заболеть, она мне открылась. Сказала, что ей почему-то плохо, и она стала часто бояться, не понимая чего, и что жить без этого мальчика она больше не сможет, и что, если что-то произойдёт, она хочет, чтобы только я, лучшая подружка, знала про её тайну. И тогда же она заставила меня поклясться, что я не выдам её! Это всё.

Наступившую после этих слов тишину первой нарушила Зарета:

– Яаллах, опять этот мальчишка! Да что же это за Азамат-то такой?!

– Подожди-ка, подожди-ка! – прервала её снова Анета. – И что же между ними произошло? Они поссорились? Он её чем-то обидел?

– Да как можно, вы что?! – изумилась юная Аксана. – Он вообще про это ничего не знает. Если бы только он обратил на неё внимание... Но он знаете какой? В него все девочки влюбляются. Но он сейчас стал встречаться с какой-то девочкой из их школы... А Росита знаете какая? Она ни за что не откроется ему сама, потому что, как она сказала, тогда она перестанет уважать себя!

Что изменилось в семье камазиста Сараби, когда причина таинственного заболевания младшенькой дочки стала известна? Стало ли от этого легче? Разве что прибавилось новых вопросов, главный из которых так и остался открытым – что делать? В ту же минуту, когда сёстры разговорили юную одноклассницу-подружку и вытянули из неё признание, обе они, не сговариваясь, поняли, что предавать огласке эту историю нельзя ни под каким предлогом. Они ещё раз взяли с Аксаны слово, что она будет молчать об этом, и взамен сами дали ей слово, что Росита никогда не узнает про этот сегодняшний разговор. Лишь к вечеру, после долгих раздумий и совещаний, они рассказали всё матери и третьей сестре. И той же ночью последним был поставлен в известность Сараби.

«Этого ещё нам не хватало!» – таковы были его слова на семейном совете следующего дня. Там же было принято решение не говорить пока ничего и самой Росите. Сараби попробовал было даже пригрозить всем трем дочкам: «Язык отрежу!» Но те сами насели на него: «Папа, да что ты такое говоришь? Как можно?» А мать поддержала их: «Смотри, сам не проговорись за бутылкой водки!» Сараби и на это хотел сказать что-то грозное, но расхотел и промолчал – общая беда консолидировала семью. Тогда старшая Анета стала настаивать, чтобы позвонили профессору Аштоцу. Пожалуй, это было единственно пра-

вильное решение. Но вдруг оказалось, что, как назло, молодой профессор Евгений Геннадьевич вчера только уехал в Чехию на какой-то там международный симпозиум врачей-психиатров и будет отсутствовать не меньше двух недель. «Да что же это такое? – воскликнула, не сдержавшись, мать. – Как будто всё против нас!» Так и разбрелись, не приняв пока никакого решения.

Так бывает, что сложная жизненная ситуация однажды заходит в полный тупик, на выход из которого не остаётся никаких надежд. Это было похоже на прострацию, в которую молча погрузилась вся большая семья. Слов больше не осталось, по крайней мере, лишних. Поочерёдно сидели с Роситой и теперь даже не делали попыток разговаривать её. Так же молча занимались своими делами по хозяйству. Девочки молча отпускали в магазине товар соседям-покупателям, а те, словно чувствуя общее семейное напряжение, сами старались теперь не надоедать расспросами и советами. Сараби молча заводил импортный немецкий автомобиль, выезжал со двора и ехал за село к реке. Там молча доставал бутылку и впервые молча и в одиночку пил. Так длилось четыре дня. Вроде недолго, но для них – целых бесконечно долгих четыре ночи и дня. И на исходе четвёртого дня захмелевший и отчаявшийся Сараби поехал от берега реки не домой, а на улицу, на которой жили К-вы.

Машину он остановил на переулке, подальше от их дома. Поймал мимоходом какого-то мальчугана и заплатил ему за услугу целых сто рублей. И стал ждать в машине. Мальчуган с заданием справился – Азамат пришёл один. И, пока ещё не понимая, в чём дело, сел в машину к Сараби, которого, конечно знал, потому что преуспевающего камазиста Сараби на селе знали почти все.

Проговорили они от силы минут двадцать, не более того. Потом Азамат вышел из машины и пошёл домой. А Сараби развернул свой немецкий автомобиль и уехал другим переулком. Никто, кажется, и не обратил внимания на эту странную встречу, и никто так и не узнал, о чём они говорили в салоне машины.

Вернувшись домой, Сараби тут же прошёл к Росите. Она спала. На соседней кровати дремала старуха, мать Сараби. С кресла, рядом с кроватью больной, ему навстречу поднялась третья дочка, Рита, и уступила место. Он поднёс палец к губам и сел. Так сидели долго, не зная, и не думая даже о том, сколько долго. Сидели и молчали. Потом Росита зашевелилась и проснулась. Сараби наклонился к ней и спросил: «Доченька, хочешь в Турцию?» – «А что там, папа?» – спросила она. «Там солнце и море», – сказал он. «Нет, папа, не хочу», – ответила Росита, – я здесь хочу». Сараби встал и вышел из спальни.

Рано утром у них был тот самый городской образованный родственник. Он пил «калмыцкий» солёный чай с молоком, когда заспанный и

с тяжёлой похмельной головой Сараби подсел к нему. Потом пришла старшая Анета подменить дежурившую ночью Риту. Сараби слушал родственника от силы минут пять, потом перебил: «Нет! Всё! Больше никаких аза-гъуазэ , никаких врачей! И Хамшоца твоего я ждать не буду!» – «А что будешь?» – спросил образованный родственник. «Водку буду», – сказал Сараби и приказал жене достать из холодильника водку. «Папа!», – попыталась было вмешаться Анета, но Сараби посмотрел на неё так, что она решила не разговаривать. Родственник дождал, пока Сараби опрокинул в себя полный стакан, а потом сказал: «А мне можно?»

Под пристальным взглядом Сараби городской образованный родственник тоже махом выпил полный стакан и закусил хлебом. Потом сказал: «Я тебе не про Изэ-гъуазэ⁸ говорю». – «А про что тогда?» – спросил Сараби. «Про человека. Про женщину. Которая умеет лечить. Наливай ещё!»

После второй Сараби спросил: «А как это так – никто лечить не умеет, а она умеет? Эта женщина кто – уд⁹ ?» – «Может быть, и «уд», – ответил родственник, – а может быть, и нет. Но она умеет то, чего остальные не умеют. Давай по третьей – стол о трёх ножках должен быть! И дайте мне, в конце концов, огурца солёного хотя бы!»

Через час оба родственника были в состоянии. Сараби подобрел и слегка обмяк, а родственник стал напористее. Теперь на его сторону встали и Анета с матерью. Особенно после того, как он твёрдо заявил, что «девочку мы вылечим»! В конце концов, Сараби сдался: «А, делайте, что хотите. Хоть к «уд», хоть к Хамшоцу». Решено было ехать безотлагательно. «Полечится там недельку, – продолжал говорить родственник, – а там и Аштоц приедет. Так что, мы не сдадимся!»

– А ну-ка подожди! – потребовал разъяснений Сараби. – Сядь! Так, а кто из них лучше – «уд» или Хамшоц?

Все молча задумались.

– Я на этот вопрос смотрю так, – ответил образованный родственник, – «уд» – это «уд», а Аштоц – это Аштоц!

Сараби тоже глубоко задумался, потом сказал:

– Вот это ты точно! Вот это вообще! – И стал давать распоряжения собирать Роситу.

– А кто поедет? – вскинула руки жена Сараби. – Два шофёра и оба на ногах не стоите.

– Как кто? – вступила тут же Анета. – А тот на что?

– Кто такой «тот»? – не понял родственник.

– Да, – поддержал его Сараби, «тот» – это кто такой?

⁸ Знахарей-магов.

⁹ Уд – ведьма, ворожея.

– Еей, мо унэм щІэсыр Іей!¹⁰ – воскликнула Анета.

– А кто это такой, «мо унэм щІэсыр»?¹¹ – с неподдельным удивлением переспросил пьяный образованный родственник.

– Да, господи, зять это ваш! – не выдержала, наконец, мать.

– А-а-а, моддэ... – протянул Сараби.

Родственника тоже объяснение удовлетворяло вполне. А Сараби вдруг вскинул заметно окосевший взгляд на старшую дочку и, потрясённый этим открывшимся обстоятельством, обратился к родственнику: «Слушай, а ведь, точно, у меня зять есть!»

Потом он принялся рассказывать родственнику, что Роситочка отказалась ехать в Турцию. Родственник не понимал, чего она там забыла.

Но их уже не слушали. Женщины пошли собираться и вызывать мужа Анеты.

Выехать смогли лишь к полудню. Дорога оказалась долгой и трудной – петляя по ущелью в высокогорное село в другом районе. Выехали вчетвером – Росита с матерью, сестра Анета и её молодой супруг за рулём. Солнце клонилось к закату, когда, наконец, ущелье расступилось и открылось довольно большое селение, разрезанное извилистой рекой, с мостом, с поднимавшимися по обоим склонам жилищами. Первые же встретившиеся им люди указали, как проехать к нужному им дому.

В большом дворе, поросшем свежей весенней травой, их приняли с положенным вниманием. По всему, к подобным гостям здесь привыкли. Встретили их мужчина с девочкой лет пятнадцати. «Иди, позови мать!» – указал ей мужчина, и повёл приехавших в дом.

Решено было, что останутся лишь Росита с матерью, а Анета с супругом уедут, чтобы не обременять хозяев. И, как их ни уговаривал хозяин дома, мужчина лет сорока, молодые супруги попрощались и отправились в обратный путь, обещав, что каждый час будут на связи. «Тут сигнал нормальный, – объяснил хозяин, – дозвониться будет без проблем. Так что не волнуйтесь, звоните».

Оставшихся мать и Роситу мужчина провёл в комнату, где посреди кровати сидела очень старая женщина с клюкой. Гости сели на стулья, и мужчина оставил их. Наступило молчание. Женщина на кровати была очень старая, такая, что голова её беспрерывно качалась и руки,

¹⁰ Букв.: «Ну, тот, который в доме!».

¹¹ «А кто такой, который в доме?» Суть в том, что по сохранившимся законам адата дочь при родителях, при родственниках и при любом взрослом человеке не может называть своего мужа ни по имени, ни в первом лице, так как это считается верхом неприличия.

когда она медленно перебирала клюку из одной руки в другую, тряслись слишком заметно. Старуха молчала, и мать с больной дочкой с удивлением отметили, что та их как будто вовсе и не замечает.

Росита вдруг вспомнила, что перед выездом из дому краем уха слышала, что её повезут к какой-то «уд», и теперь, поёжившись, тесно прижалась к матери. Да и жильё, в котором они оказались, слишком разительно отличалось от их обустроенного и обставленного на европейский манер родного дома. Полы были деревянные и истёртые, а скудная мебель почти вся была стара, как, например, железная кровать, на которой сидела и едва заметно копошилась старуха. Дом был беден, но везде была чистота, и пахло свежестью. Это было заметно.

Вскоре вошла женщина в сопровождении девочки, той самой, которая встретила их во дворе. Женщина была ещё молодая, лет под сорок, приятной наружности, в платке, в шерстяной кофточке и джинсовой длинной юбке. Как только она заговорила и, особенно, улыбнулась, мать с дочкой почувствовали себя гораздо уютнее и свободнее. Она пахла свежим сеном, коровьим выменем и молоком. И извинилась, что заставила себя ждать – вечерняя дойка задержала.

– Марьям, ты комнату приготовила? – обратилась она к дочке.

– Да, мам, сразу.

– Хорошо, – кивнула женщина и подошла к старухе.

«Ну что, мама, развлекала тут гостей, пока меня не было?» – громко заговорила она, оправляя на голове старушки сбившийся платок. Старуха лишь слегка повела головой, продолжая так же пошамкивать беззубым ртом. За спиной послышались какие-то скребки. Мать с Роситой невольно оглянулись и увидели, что, обняв дверной косяк, стоит и смотрит на них девчушка.

«А ну, Джамиля, иди сюда, – сказала ей женщина, – посиди с мамой, пока я гостей провожу в их комнату!» Девочка послушно прошла и села на кровати рядом со старухой, просунула голову ей под костлявую руку и обняла её, продолжая с любопытством, смешанным с детским смущением, разглядывать незнакомых людей.

Когда поднялись со стульев, Росита заметно качнулась. Ближе всех стоявшая юная Марьям тут же подхватила её за талию, и они пошли из комнаты. «Милая моя, какая же ты слабенькая», – заметила женщина.

Роситу с мамой определили в отдельную комнату. «Устраивайтесь, пожалуйста – сказала Марина (так звали приятную женщину), – а я скоро вернусь». Так и началось лечение.

Собственно, ничего особенного в этом лечении не было. Из своих сборов Марина заваривала какие-то ароматные травы и давала Росите. Маме она показывала и перечисляла их – ромашка, душица, мелисса, мята. А Росите эти травяные чаи даже понравились. Тут же при них она

наговаривала на эти настойки короткие закиры. А на каждую ночь она ставила открытую баночку с настоянным шалфеем. Мама даже наедине с дочерью немножко и поворчала, что стоило ли ехать в такую даль, когда эти травы она и сама хорошо знает. Да и закиры она знала чуть ли не с детства – старшие научили. Видимо, она была слегка разочарована отсутствием во всём этом вообще-то положенной тайны.

Дважды в день, после полудня и вечером, Марина входила к ним в новой и более строгой одежде и в платке. Уже наученные, Росита с мамой приготавливались – мама либо садилась в уголке, или вовсе выходила во двор или в другую комнату, а Росита укладывалась головой повыше на подушку. Марина садилась в изголовье её кровати, открывала Коран и вполголоса читала непонятный текст, изредка отвлекаясь от чтения, чтобы подуть на девочку. Потом откладывала книгу и начинала с нею говорить. Всё равно, о чём. Росите нравились эти разговоры. Она совершенно ничего не испытывала, когда Марина читала и дула на неё, и это ей даже не очень нравилось, но она вежливо терпела. Но вот разговоры с Мариной она полюбила. Полюбила её голос, мягкое обаяние её лица, её рассказы о себе, о семье, о разных людях. Так и длились их незамысловатые беседы: хозяйки Марины, мамы и Роситы – как живут, какие нравы и привычки и особенности в их селах, чем семьи зарабатывают, рассказывали друг другу про остальных детей. И каждый из пяти намазов Марина делала тут же в комнате. Мать немного стеснялась, что не молится сама, поэтому выходила.

Хозяйка была полна каким-то естественным хорошим человеческим теплом. И ещё, она хорошо пахла. Росите был знаком этот запах, но что это такое именно, она не могла сказать. И она принималась искать в необязательной игре воображения наивные поэтические образы – и в них были терпкий запах горного разнотравья в родном селе, а ещё запах коровьего вымени и запах полуденного зноя, и запах тёплого молока и запах земляники на холмах, напоминающий о кружащих над нею пчёлах; и запах сухой вечерней пыли над селом, когда стада возвращаются с пастбищ, и запах уютной шали на усталых плечах, и запах непридуманной сегодняшней жизни, о которой Росита стала припоминать, и которую стала понимать, и которую снова стала учиться любить.

На исходе четвёртого дня Росита попросилась на двор, посидеть на крыльце. В предзакатном алом свете над селом вздымалась гора. Этот розоватый тихий свет струился по двору, по улице, по урочищу, в котором теснилось селение. В заросшем зелёной травой покато дворики играли дети, две девочки и мальчик. Одна из девочек была уже знакомая ей Джамия. На девочках были простенькие и застиранные спортивные штанишки и футболочки, мальчик был в больших шортах. Лицо и голое пузо его было в грязных пятнах с разводами. Они по-

дошли к крыльцу. Одна из девочек от любопытства заковыряла в носу.

– Ты почему болеешь? – спросил мальчик.

Росита растерялась.

– Э, дурак, так нельзя спрашивать, – сделала ему замечание девчонка, оставив свой нос в покое.

– Эй, а ты красивая! – сказала Росите Джамия.

Росита улыбнулась.

Мальчик вытянул ручки перед собой, ухватив воображаемый руль, и с завыванием воображаемого мотора сорвался с места и побежал по двору. Девчонки с визгом помчались за ним.

Подошла Марьям.

– Как дела? – спросила она.

– Хорошо, – ответила Росита, – а у тебя?

– Тоже нормик, – сказала девочка. – Вот, папа в магазин послал.

– А это далеко?

– Неа, – ответила Марьям. – Хочешь со мной?

– Хочу, – сказала Росита.

На обратном пути Росита призналась, что слегка утомилась.

– Тогда посидим, – предложила Марьям и они сели на ближайшую скамейку у незнакомых ворот. – Ничего, это пройдёт, ты скоро поправишься, – продолжала Марьям, – мама так сказала.

Росита кивнула.

– Вот у нас осенью девушка была лет двадцати пяти, вот она тяжёлая была.

– А что у неё было?

– Муж погиб в аварии. Они только поженились. Девушка перестала спать и всё время боялась. Ей никто помочь не мог. Мама её сорок дней лечила.

– И что, вылечила?

– Не знаю. Но она стала спать ночами. Хотя, всё равно грустная была. Мама сказала, что в любом случае время должно пройти, год, два, три, быстро такое не вылечить. Сказала, что и лекарства надо пить, которые врачи прописывают. Мама говорит, что и врачи, и лекарства тоже от Бога.

– Мне лекарства не помогают, а в Бога я не верю, – грустно ответила Росита.

Марьям улыбнулась.

– Я тоже иногда не верю, а потом снова начинаю верить, и так по очереди.

Росита тоже улыбнулась ей в ответ.

– Но про тебя мама сказала, что ты быстро поправишься. За несколько дней. Потому что, она сказала, ты очень чистая и они тебя любят.

– Кто, они? – не поняла Росита.

– Я не знаю. Мама знает.

Росита недоверчиво покосилась на неё.

Когда вернулись из магазина, Росита, слегка смущаясь, спросила, где сейчас Марина. «Наверное, доить пошла. Пойдём, отведу», – легко поняла её девочка и проводила в коровник, захватив по пути табуреточку. Росита сидела рядом и смотрела, как ловко управляется женщина.

Потом были вечерние процедуры, а потом, когда в домах уже все улеглись, всю ночь они с Мариной просто разговаривали. Мама спала на своей кровати. Росите так не хотелось расставаться с этой женщиной, и словно догадываясь об этом, Марина и не собиралась уходить спать. Она рассказывала о своей юности, о том, какой хулиганкой была в школе, как не давала спуску задиристым школьным мальчишкам, потом о своих первых свиданиях, про учёбу в городе, про будни, про родителей, про мужа, про детишек, и в ответ ей Росита охотно раскрывалась и тоже посвящала её, взрослую женщину, будто свою подружку, в свою совсем ещё небольшую жизнь. А потом, как в забытьи, в самозабвенном порыве искренности и полного доверия, рассказала ей о тайне, которую вот уже много месяцев мучительно прятала ото всех и носила в себе. И так медленно и тихо катилась эта ночь.

Под утро Росита забылась в глубоком сне. А когда проснулась, смущаясь, призналась матери, что очень хочет есть. Недуг отступал. Она возвращалась к жизни.

Днём она терпеливо сносила непонятные магические процедуры Марины-знахарки, ожидая их окончания, чтобы просто заговорить с ней. А есть теперь стала охотно и с аппетитом. Причём ей невероятно понравился совсем незатейливый рацион этого дома – вареная картошка с сыром, или также отварное мясо с пастой и зелёным луком прямо с грядки, кисло-пахучий домашний хлеб, замешанный на простокваше, или солёный молочный чай по утрам и вечерам со свежими горячими лепёшками. После полудня глаза сами собой слипались, и она с удовольствием спала часик-другой. Но большую часть дня она проводила с Мариной, следуя за ней везде. И, конечно, с нетерпением ждала вечера, когда они, наконец, смогут остаться наедине и будут долго-долго разговаривать, потому что с Мариной было хорошо говорить, и просто быть с ней рядом было хорошо.

Наконец, однажды утром Марина сказала: «Ну, всё, ты выздоровела. Всё ушло». Мать уточнила у Роситы: «Это правда?» – «Да, – согласилась Росита, я выздоровела, – дальше всё будет хорошо».

Мать радостно обняла Роситу. Потом обняла Марину и заплакала. От радости, разумеется. «Я хочу, чтобы мы навсегда остались подругами, – сказала Росита. – Можно, я к тебе ещё приеду? Просто так».

– Конечно. Обязательно приезжай. И звони мне каждый день, – ответила Марина.

В числе приехавших за ней был и отец. Марина отозвала Сараби и недолго поговорила с ним наедине. Отошёл он от неё заметно смущённый и притихший. Вернувшись домой, Сараби зарезал быка, накупил продуктов и устроил садака для односельчан и родни. И с того дня ни разу никто не слышал, чтобы жаловался он, что нет у него сына.

АЛЬБОМ

(Из повести «Прощальный поцелуй лета»)

...Ну, а что касается Зубера, то жизнь, скорее всего, ничему его не научила. Я даже не пытаюсь изобразить интерес, а просто отвечаю, что со мною тоже такое случалось, и со всеми случается, но только в школьные годы. Но он настолько поглощён своими рассуждениями, что никакой иронии в моих словах не замечает. Мы сидим у него дома, в квартире на проспекте Мира, хотя, кажется, к тому времени уже проспекте Кулиева. Он несёт эту свою романтическую и, конечно, надуманную чушь, и совершенно погружён в свою полупьяную сентиментальность, жалуется на жизнь и на время, иногда театральнo вскакивает и прохаживается по комнате, продолжая вещать, или, остановившись у своего старого пианино, что-то наигрывает, отчего ситуация теряет для меня всякий смысл.

Это, наверное, такой тип стареющего мальчика, не умеющего взрослеть ни под какими пинками судьбы, именно пинками, потому что, боюсь, он никогда не дорастёт до того, чтобы получать приличные удары, а не снисходительные затрешины.

– Выпей и забудь, – сдерживая зевоту, советую я ему.

– Если бы я мог забыть! – отвечает он. – Ты просто не знаешь, что она за женщина!

Думаю, если бы они знали, как я в действительности реагирую на подобное, мне никто ничего не рассказывал бы. При этом я не могу испытать даже малейшего раздражения, когда мне открываются. Внутри я просто абсолютно безразличен. Наверное, это не конформизм, а обычный эгоизм, потому что я давно предпочитаю иметь в приятелях тех, с кем просто спокойно.

И ещё я всё помню. Я бы хотел многое забыть, иногда даже всё, но так не бывает, и временами мне кажется, что жизнь это не движение вперёд, а, наоборот, одно сплошное надоедливое воспоминание.

За пару часов до того он пришел ко мне в редакцию и заявил, что сегодня я обязан выпить с ним до положения риз. Так и сказал (где он только откапывает эти давно похороненные идиомы?) При этом сам был уже слегка навеселе. Потом мы шли с ним по сырой после дождя предвечерней улице, и он внушал мне: «В конце концов, я не просто

право имею, я обязан сегодня расслабиться – не каждый день они все разом уезжают», – имея в виду жену и дочерей, которые на выходные отправились к родителям. Все детали я также должен выслушать. Его, что называется, несёт.

– Слушай, – он дёргает меня за рукав, оглядываясь на симпатичных девушек, – давай баб пригласим! У тебя должно получиться, познакомься с кем-нибудь!

– Сам знакомься, – говорю я, – и вообще, тебе что, своих знакомых мало?

– Надоели, – делает он гримасу, и мы подходим к ларьку, – дома одни бабы, на работе то же самое, знакомые осто... Та-ак, что тут у вас?... Ты понимаешь, хочется чего-то нового, таинственного и романтического... Как тебе «Зверь»?

– Какой зверь? – не понимаю я.

– Ну, водяра «Зверь», – показывает он на бутылку в витрине.

И спустя какое-то время, когда мы входим к нему в квартиру, снова говорит, мечтательно на этот раз:

– Представь, что я на нашем проспекте знакомлюсь с настоящей парижанкой. Утончённой и потрясающей интеллектуалкой. И она просит меня стать ей гидом...

– По Нальчику, что ли? – недоумеваю я.

– Перестань, я могу в тебе разочароваться! – оскорблено предупреждает он.

– Да нет, я просто хочу понять, куда ты её поведёшь. На ипподром, что ли? Или в «Бочку»?

– Всё-таки, какие вы все... Мне вас жаль! – эффектно произносит он и уходит на кухню.

– А чем нальчанки хуже парижанок? – интересуюсь я из комнаты. Хотя тут же понимаю, что вопрос лишний, ответ я уже знаю. «Надоели», – раздаётся из кухни.

Если бы я не знал Зубера, то посчитал бы шуткой это его нетрезвое признание, что он влюблён в жену своего коллеги. И даже приятеля. Но так и есть, я понимаю, что это правда.

– Ты просто не представляешь, что она за женщина! – говорит он за столом. – Она ничего не делает, просто живёт, существует, и всё – этого достаточно. Она не просто красавица, и вообще она не красавица, но она прекрасна, так, сама по себе, слишком даже естественно. И, Боже, она так беспомощна! Видел бы ты её улыбку, и... ну, как бы... Ну почему я такой невезучий?! Нет, я не невезучий, я просто идиот. Ну как иначе объяснить то, что со мной происходит? Ну, разве это нормально? Вот, я смотрю на тебя и вижу, что ты смотришь на меня и говоришь про себя: эх, Зубер, какой же ты д...б! Взрослый, но не желающий взростеть...

– Да не думаю я ничего такого.

– Точно не думаешь? Ну, ладно. Хотя, зря. Я бы на твоём месте именно так и думал.

– Постой-ка, брат, – напоминаю я довольно требовательно, – а что значит, невезучий? Ты что, хочешь сказать, что тебе не повезло с Эльмирой?

На лице его совершенное потрясение. Он действительно зашёл слишком далеко в своих воздушных рассуждениях. По всей видимости, он на каком-то отрезке этих полупьяных фантазий просто забыл, что женат, что есть дети...

– М-да... Да не-е! Ну, ты меня совсем не понял. Это я, конечно, совсем уже, в общем... Да, конечно же, повезло, и люблю я свою коблочку! И тут всё не так, это как бы всё по-другому, ну как бы тебе это...

– Короче, я понял – у тебя возвышенное платоническое чувство.

Он замолкает и очень серьёзно и внимательно смотрит на меня, затем рука его тянется к рюмке. «Слушай, Хасан, отныне ты мне – брат! Давай!»

Вообще-то, мне можно и не говорить ему ничего. Зубер не сумеет натворить никаких глупостей, потому что ему незнакомо слово «поступок». В своём неведении Эльмира может быть спокойна за семью. Зубера сделали безобидным, так как всегда оберегали от каких бы ни было поступков, а теперь уже поздно, и у него остались только слова. И я понимаю – это своего рода вытеснение: всё неосуществлённое, упущенное и всё-таки желаемое попросту бьёт из него теперь этим словесным водопадом. Я люблю его, потому что, наверное, привык к нему. И люблю посидеть с ним, хотя иногда приходится напрягать свои внимание и интуицию – его часто заносит так, что он не помнит, с чего начал и куда его увело. Хотя, сейчас – нет, прошло полчаса, а он всё о том же.

– Знаешь, какая она? Она такая, что... Сейчас я тебе объясню – мне нужен образ, сюжет... А! Вот! Представь, седая старина, суровые нравы, твёрдые принципы и тэ дэ, и тэ пэ, так вот, она такая, каких в те времена прятали бы от чужих глаз и запирали где-нибудь в высокой башне. А внизу ради одной её улыбки или случайно, в кавычках, обронённого платочка глупые и гордые витязи и прочие рыцари проливали бы декалитры крови.

– Почему глупые? – не понимаю я.

– А где ты умных витязей встречал?

– Да я вообще никаких не встречал.

– А рыцарей?

– И их не встречал.

– Послушай, ну не придирайся ты к словам. Ты должен всё понять. Ты меня знаешь – что для меня бабы? Мне не это нужно. Я ценитель, понимаешь? Художник. Созерцатель! Мне действительно повезло с Эльмирой, я вообще поразительно везучий человек. Я с детства ни в

чём не нуждался, и в этом плане тоже, и сейчас ни в чём не нуждаюсь. Я вообще легко ко всему относился, наверное, поэтому мне и везёт. Ты же знаешь, и все знают происхождение моего везения. Это интересно. Как у Пруста, помнишь, как же там, в общем, «если же вдруг что-то будет мешать мне стать выдающимся писателем, то вмешается влиятельный папа и спокойно сделает так, что я стану выдающимся писателем...»¹². Ну, примерно так. Потому, что я так привык, от меня никогда ничего не зависит. Всё так чётко и разумно устроено, и все знают, кем устроено, так что мне всегда во всём везёт. Кроме одной мелочи – жизни. Я её не умею жить. И не живу... – он запнулся. – Хас, такая всё это чепуха! Я просто втюрился, как мальчишка, и зверею от того, что не могу это контролировать, и это делает мне плохо, очень плохо... Помоги мне, брат, я буду твоим должником до смерти... Слушай, Хасан – точно, ты должен мне помочь! Хотя, чем ты мне сможешь? Я ведь и рассказываю это тебе, потому что только ты не станешь пичкать меня всякими идиотскими советами, потому что человека нужно просто выслушать. Я просто спятил бы, если бы продолжал это держать в себе!..

Я слушаю его и думаю о своём. Я готов к этому заранее, потому что привык – слушать его и думать. Вот он говорит, я слышу, понимаю и даже многое запоминаю, и одновременно вспоминаю факт из его биографии. Факт знаменитый в определённых кругах, как однажды его, Зубера, и двоих его коллег-парней отправили по служебным делам в Нарткалу¹³. И как по окончании этих служебных дел их, как водится, прилично угостили. И как уже по пути домой, на нарткалинском автовокзале, они втроём пришли к мнению, что необходимо подзаправиться ещё. Там, на автовокзале, их и «свинтили». Местный патруль.

Интеллигентные внешности, костюмы и галстуки, служебные документы и особенно фамилия Зубера произвели на милиционеров должное впечатление. Так что они подумали, подумали, и позвонили своим коллегам в Нальчик и сказали примерно так: приезжайте и заберите своих интеллигентов-алкоголиков – у нас тут своих хватает: и алкоголиков, и высокопоставленных папаш и проблем! В общем, примерно так. Нальчане приехали. На своём «Уазике», «Бобоне» в просторечии. Передача задержанных состоялась. При этом рассказывают, что нарткалинские милиционеры, успевшие пообщаться с пьяными интеллигентными гостями, особенно с Зубером, как-то с заметным сочувствием смотрели на своих столичных коллег. По-видимому, Зубер был в ударе. Я давно заметил за ним эту поразительную странность – чем

¹² «...Он (отец) попросит за меня правительство и провидение и я стану самым крупным писателем нашего времени». Марсель Пруст. «По направлению к Свану».

¹³ Райцентр в Кабардино-Балкарии в 20 км от Нальчика.

более он пьянел, тем более литературной и во многом экспрессивной становилась его речь. Как русская, так и родная кабардинская. Вот как сейчас. В общем, милиционеров хватило всего на половину пути. Миновал Урвань, «Уазик» вдруг затормозил, один из патрульных открыл дверцу задержанных и вежливо попросил Зубера: «Къакуэт кхъыа си къуэш, зы минуткӕ къыкыт!»¹⁴ Зубер вылез из машины. Милиционер захлопнул дверцу, затем молча сел обратно, и «Уазик» уехал. Зубер остался на трассе среди зеленеющих урванских полей.

Вот и вся история. В итоге, конечно, добрался он тогда домой. По большей части пешком. «Ни одна зараза, – говорит, – не подбирала. Потом автобус какой-то. Но это чепуха – ты понимаешь, поговорить не с кем было!» Я люблю его ещё и потому, что он прозрачный. Или, может быть, потому, что мне его заранее жаль – он может скоро спиться. Если что и спасёт его, то, наверное, отсутствие цинизма. Который здесь в моде. Зубер в моду не вписывается ещё и потому, что читает не по моде – например Пруста. Пруст в числе прочего роднит меня с Зубером.

– ...Пойми меня, я ни на что не рассчитываю, – продолжает он между тем.

– Ты о чём? – решаю я отвлечься от своих мыслей и вернуться к его теме.

– Я про что-то меркантильное. Понимаешь? Я не рассчитываю даже на обыкновенный адюльтер. Она – и адюльтер, Боже, как пошло! Даже если допустить это теоретически, а допустить это никак невозможно, короче, у меня ничего не получится. Я не смогу. Черт возьми, это убьёт все мои светлые чувства!

– Тогда чего ты хочешь? – и вправду не понимаю я.

– Я не могу! Я, наверное, застрелюсь. Оставлю три письма и застрелюсь: одно ей, другое отцу, а третье – миру, и в нём я скажу всё, что о нём думаю. В смысле, о мире. Хотя, нет, отец меня и там достанет, так что мало не покажется. Что еще можно ожидать от человека, который в наше время даёт своему сыну такое экзотически-средневековое имя?

– Нормальное у тебя имя, – замечаю я.

– Ну да, ладно, пёс с ним, с именем!.. Вот что – я лучше в горы уйду. Точно! И буду жить там охотой, чтением и ленью. А вниз буду время от времени кидать пустые бутылки. Представляешь, как они все обалдеют, в первую очередь отец.

– Ну да, а там он тебя не достанет? Ещё как достанет. И заставит снова заняться диссертацией. Кстати, как продвигается работа?

Он смотрит на меня так, словно я его безнадежно оскорбил.

¹⁴ Брат, выйди сюда, пожалуйста, на минутку!

– Хотя бы сегодня, – требует он, – не напоминай мне! Что вы за люди? У вас в голове сплошной прагматизм. В белых тапочках я видел эту диссертацию, потому что никому в целом свете не будет от неё ни малейшей пользы! Что с того, что я стану кандидатом? Посмотри на меня, ну какой из меня учёный?

– Ну, ладно, чего ты разошёлся?

– А что, разве я не прав? Разве это всё нормально? Эх, Хас, я просто мечтаю уехать отсюда. Только представь, плюнуть на всё, вот в этих старых джинсах и в этом свитере, без гроша в кармане, куда глаза глядят. Слышишь, какой истасканный, но какой удивительный речевой оборот – «куда глаза глядят»?.. Пробраться на какое-нибудь торговое судно, следующее в Азию, и зайцем, всё равно куда. Сойти на первом же приглянувшемся берегу, в какой-нибудь восточной деспотической стране, поселиться в рыбацкой хижине, зарабатывать на жизнь контрабандой сукна и анаши, пить в прибрежных и портовых кабаках текилу и херес с заскорузлыми португальскими моряками. Снимать портовых б...дей за пригоршню стихов, сочинённых тут же у стойки бара. Да, а потом мои стихи дойдут до слуха прекрасной дочери эмира, нефтяного короля, и она захочет тайком взглянуть на меня и... потеряет голову. И, в конце концов, этот нефтяной тесть подарит нам дворец где-нибудь в оазисе, где я смогу, наконец, насладиться жизнью и спокойно подохнуть среди золота и парчи... Я безнадежно устал, Хас. Я ничего уже здесь не люблю. Мне кажется, эта диссертация и эта влюблённость, в общем, это неспроста, это специально так подстроено, чтобы доконать меня окончательно.

Чем-то должна объясняться причина, по которой людей тянет изливать мне свои души. Никакой я не альтруист. У меня никогда не находится слов, чтобы утешить или выразить сочувствие. В лучшем случае я молчу. Этого оказывается достаточно. Всё дело, наверное, в выражении моего лица, которое предрасполагает к душевному разговору. И ещё, наверное, в том, что меня это никогда не тяготило. Я стал довольно рано понимать, как жизненный успех во многом связан с физиономией. По сути, я всегда приходил к тому, чего от меня ждали. Всегда так было. И, в отличие от Зубера, меня совсем не опекали. Ни в чём и никогда. А наоборот, сами возлагали на меня надежды: родители, учителя; потом в университете; теперь вот, жена, начальство. Туда же и Зубер. Хотя, я знаю, он бескорыстен, и ему ничего от меня не нужно. Я искренне считаю странным, что все находили и находят, что я умный и что я далеко пойду. Нет, я, конечно, не против, просто я вижу, что в этой толчее, которую мы называем жизнью, особого ума и не требуется. Почти явственно впереди стелется дорожка, и будь благоразумен не бросаться в стороны – и всё. И будет тебе счастье. Наверное, я неплохо устроился. Во всяком случае, мне нравится слово «адаптация».

Но, конечно, не всё так скучно. Хотя, и не всё так весело. В жизни достаточно утешений. Вот, например я уверен, что то, что нам действительно принадлежит – всегда в прошлом. И часто злоупотребляю обращением к нему. Я отдаю себе отчёт в том, что такой настрой свидетельствует, что в настоящем у таких, как я, не всё в порядке. Но я давно понял бессмысленность всяких попыток одёргивать себя, и согласился – да, я сентиментален. И никто из близких или знакомых не только не догадывается об этом, но даже не поверит этому. Да, я скрываю это, но, если и маскируюсь, то вовсе не потому, что стыжусь, а только потому, что никому другому это попросту не интересно. Со временем я принял решение не противиться этим приливам ностальгии, и также со временем у меня сложились свои личные ритуальные таинства. Впрочем, наверное, как и у всех.

Одно из этих таинств повторялось много лет подряд, почему-то именно летними ночами в родительском доме, когда я возвращался в свой маленький городок. Из года в год. И только эти глубокие тёплые ночи становились свидетелями моей слабости, иногда доходящей до степени страсти – тоски по прошлому, но и, надо заметить, тоски странной, потому что я не знаком с другим таким человеком, который, например, вздыхал бы по временам, в которые сам он ещё не появился на свет. И я не позволял обесцениться хрупкой сакральности моего интимного ритуала его частым повторением, нет, всё происходило только раз в год, и только в родном доме, в котором я теперь по большей части гость.

Альбом я доставал, лишь когда убеждался, что дом моего детства затих, что уснули мои родные люди – родители, брат, наши с ним жёны, наши дети. Осторожно зажав его под локтем, чтобы не обсыпались фотографии, я перебирался – «яко тать в нощи» – в наш старый флигель, как у нас говорят, во «временку», где у нас летняя кухня. Тут же привычная неизменная вещь – старый радиоприёмник «Океан», который мой брат Анзор после каждого ремонта во флигеле, зная мою привязанность к этой вещи, возвращает обратно на привычное место на подоконнике. Я раскладываю на столе альбом, сигареты с зажигалкой, включаю приёмник и ставлю чайник. В тишине летней ночи время становится заодно со мной, и я чувствую, как оно замедляется и потом приходит понимание, что ничто не уходит, а всё находится здесь со мной, так же, как и годы тому назад. И время окончательно замирает.

На зелёной бархатной обложке альбома потускнели контуры горностая, которого я много лет тому вырезал из какой-то цветной репродукции в одной из школьных книг и наклеил сюда. Белое лоснящееся, длинное тельце зверька всё так же плавно изогнуто, и черные хищные глазки смотрят в того, кто смотрит на него. Раскрываю альбом и с первыми фотографиями принимаюсь коптить потолок сигаретным дымом,

от которого беспокоятся мухи вокруг горячей лампочки.

А потом я начинаю слышать. И знаю, что это не игра воображения, не свойства памяти, а сама реальность. Потому что я словно наяву слышу отзвуки почти забытых мелодий, которые простосердечны и добры, как и застывшие мгновения, из которых они выплывают. Красавцы в белоснежных смокингах – костюмы и улыбки ослепительны, как горный снег на дальнем плане – со своей неизменной песенкой-шуткой о чьей-то причёске, смахивающей на капусту – странно, что прежде всего вспоминаются «Чегемские водопады», мужской вокальный ансамбль, появившийся на маленьком экране нашего чёрно-белого телевизора, когда по вечерам его смотрел отец. Потом Наталья Гасташева – в красоте и безмятежности тех дней и тех лет, в дивных звуках прозрачного и хрупкого эфира – всегда молодая и артистически недосягаемая, как солнце юга в разбегающихся кружках лучей в телекамерах той поры. И аккуратные старательные баритоны – Исмаил Джанатаев и Ахмед Пачев, и все ведущие новостных передач, и все телеспектакли, и все разговоры и рассказы моей родни, и вся наша школьная и беззаботная дурь – это же так реально. И так иллюзорно... Воспоминания – замирающий спящий мир, потому что звуки мелодий и слов могут также остаться на фотокарточках – мир, который застыл на них тогда, когда меня самого в нём ещё не было.

Такие забавные в своей серьёзности парни в широченных отутюженных брюках, и весёлые и естественные в своей беззаботности девушки в летних платьицах, на которых и в пожелтевшем глянце фотокарточек по-прежнему, как и тогда, продолжает изливаться озорное солнце тех дней. Когда в городские кинотеатры и сельские Дома культуры ломались на «Тарзана» и «Фантомаса», когда мальчишки играли в «Генералов песчаных карьеров», а в любом селе без запинки напевали знаменитую «Аварая» Раджа Капура, и когда мечтательные девчонки из маленьких Терека, Прохладного, Тырныауза, Баксана или Докшукино прятали среди своих милых безделушек открытки с Олегом Стриженовым или Массимо Джиротти: разве мне знакомы эти дни?

«У самого синего моря» – была такая песня. За делами по дому мама часто ставила какую-нибудь пластинку. А эта песня звучала на русском и почему-то на японском. И теперь, спустя годы, рассматривая старые фотографии, я будто слышу почему-то именно её. А на фотографиях двор гостиницы «Нальчик», и у фонтана с целеустремлённой важностью, которая совсем не в стиль песенке, стоят с книжками подмышкой какие-то молодые парни – мои родственники с приятелями. А потом звонким и слишком уж экзотическим тенором вплывает Рашид Бейбутов: «Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза...», любимая песня папы, а у того же фонтана озорные и скромные, весёлые и слегка грустные – девушки в брызгах фонтана – оставшиеся

жить в соке юности мгновения, замершие у меня на ладони... Меня тоже «несёт», потому что я отпускаю себя совершенно и безоглядно.

Здесь много карточек с дежурно-душевными комментариями по типу «Под дивным солнцем Кавказа», или без этих слащавых эпитетов солнцу просто и радушно зовёт «Курорт Нальчик». По мере того как меняется на персонажах карточек одежда с вызывающими улыбку фасонами (надо же, мы это носили! – вспоминают старшие), я понимаю, как время приближается ко мне. На самом деле нужно благодарить всех, кто не забывал и не ленился фотографироваться. Фотосалон либо уличный или курортный фотограф были в те времена строго обязательной частью программы. И теперь благодаря этому у меня есть ритуал погружения в прошлое, в котором родные, знакомые и совсем неизвестные мне люди запечатлены в мгновения праздности – видимо, отсюда стойкое ощущение непреходящей радости тех лет.

Вот они в креслах «канатки», неспешно плывущие в высоте над озером в сторону ресторана «Сосуко» или обратно в парк; и неизменно на центральной площади города у «памятника Марии». А вот они на куче снимков в курортной зоне «Долинск», а мужская половина непременно у знаменитой «Бочки» – наши дядья и братья, наш молодой отец, их друзья и случайно оказавшиеся в кадре люди – с бокалами пенистого в руках, в потрясающе расклёшенных брюках, в не менее потрясающих размерами кепках-аэродромах, а позади бессменная декорация этих снимков – огромная раздутая деревянная конструкция пивного бара...

Первым листам альбома с впечатлениями везёт больше, а потом волны воображения и воспоминаний начнут отставать от листающих пальцев и всё более отстранённого взгляда. Я не помню, чтобы пересматривал альбом в естественной последовательности, потому что всё начинает подчиняться потоку воспоминаний, которые переносятся от деталей к деталям, из прошлого в будущее – к нашим детям – или наоборот. Глядя на снимки наших молодых родителей, тех самых, которые так юны на снимках у фонтана, я вообще перестаю чувствовать разность времён – даже там, оставшиеся моложе нас нынешних, они всегда старше нас.

В частые паузы я готовлю себе чай или кофе, закурываю, хожу по ночному дворику или слушаю радио, и вспоминаю теперь уже близкие, сегодняшние события и впечатления. В них тоже ритуалы, например, радость встречи детишек – моих и моего брата Анзора, которым теперь предстоит вместе провести остаток лета у бабушки и дедушки. Из года в год, от каникул к каникулам. Мама, которая неизменно строга к снохам, и которой тайком наедине удаётся взять и подержать меня за руку. Отец, почерневшая сухая кожа которого пропиталась запахом зноя и дешёвой «Примы», очередную из которых он мнёт в сильных жёстких пальцах. Наши подарки, первые расспросы, наши оправдания, что не получается приезжать чаще, чем раз в месяц.

Это всего лишь воспоминания. И в этих моих путешествиях в прошлое всегда больше старых вещей и людей. Которые доживают, наверное, чтобы окончательно остаться во времени. И странно, что нет никакой боли, иначе я давно прекратил бы эти сентиментальные экскурсии. Только печаль, чистая и ясная. Я всё ещё молод, но я люблю красоту подобных вещей. Потому что их не высказать.

Под потолком нашей временки так же нервничают мухи, так же с подоконника приглушённо вещает ночная волна привычной радиостанции, я закурываю и, глядя теперь уже на лица моих друзей, я словно смотрюсь в наше детство. Странно, что черты лица некогда очень близких людей могут совершенно стираться из памяти. Они, бывшие когда-то мне роднее всех родных, теперь с каждым годом будто отдаляются от меня и становятся всё более отстранёнными. Таково, наверное, свойство времени, которому неведомы пристрастия.

Я знаю, однажды и, наверное, скоро я прекращу этот бессмысленный ритуал моих фотографических путешествий. Наслоение количества времени поменяет его качество. Вряд ли я стану мудрее, всё дело будет в том, что уснут не сами воспоминания, а связанные с ними переживания, и тогда всё, имевшее место в прошлом, станет тем, чем по сути и является всегда – обычными вехами. Я так и не понял, что такое время.

«... Так что с её стороны это полное наплевательство на нас...»

Мне придётся переспросить относительно этой странной фразы. По всей видимости, Зубера снова занесло в какие-то дали.

– Ты это о ком?

– Что о ком? – прерывает он монолог.

– Ну, кто на нас плюёт?

– Жизнь, – глядя на меня подозрительно, повторяет Зубер, – со стороны жизни на нас полное... Ты что, не слушал меня?

– Да слушал я, просто задумался на минутку, извини!

– Не, ну ты... а вдруг я говорил нечто очень важное и неповторимое? Вот это да! Знаешь, если бы ты не был моим лучшим другом, я бы сейчас оскорбился и ушёл!

– Куда ушёл, это вообще-то твой дом.

– Да? Ну и бес с ним. Ладно, слушай. Я говорил о том, что пора определить чёткие границы, чтобы человек знал – вот детство, вот юность, потом взрослость и так далее. А то ведь это несправедливо: живёшь себе, думаешь, вот хорошо, я ещё юный, а на самом деле фиг тебе – уже о детях своих надо заботиться. А потом и старость предательски подбирается. Ты не заметил, как быстро прошла молодость? Не-ет, всё направлено на то, чтобы тихонечко нас угробить. Ты не находишь?

– Не знаю, – я пожал плечами, – по-моему, нет разницы, поэтому нет и границ. Ведь мы-то остаёмся самими собой.

Зубер задумался. И почему-то вдруг погрустнел.

– Ты серьёзно так считаешь? Хотя, что я спрашиваю?

– Да вроде серьёзно, – ответил я. – Мне вообще часто кажется, что этот мир устроен совершенно справедливо.

Он продолжал пребывать в задумчивости. Даже, кажется, протрезвел. Потом сказал.

– Ты счастливый человек, Хас.

– Дальше не надо!

– Ладно, – так же грустно согласился он. Поднялся из-за стола и прошёл к пианино. Но играть не стал. Обернулся ко мне. – В ней есть что-то неизъяснимое, – сказал он, – что-то такое, чего не разглядеть до конца.

– Ты о жизни или об этой женщине?

– О ней, о женщине. Я долго думал, что это такое. Теперь, кажется, стал понимать. Она настоящая, потому что в ней есть то, что не всем дано разглядеть. Это какой-то трагизм, необъяснимый и естественный. С которым не совладать. Никому. Поэтому она недосягаема. Тоже ни для кого. Я думаю, когда я перестану дурачиться, я всё слишком хорошо понимаю. Поэтому тут же снова начинаю дурачиться. Вот, собственно, так.

Мне не стало его жаль, просто я не хотел ничего такого в обычном застолье. Ничего такого, что уместно в каких-нибудь претенциозно глубоких, но в общем-то надуманных романах, а не в этой банальной пьянке. Мне захотелось уйти. Он это понял. И я видел, что он жалеет, что открылся. Я всё ему простил. Сказал, чтобы он, если хочет, и правда, плюнул на эту диссертацию, на всё вообще, и начал жить так, как хочется, а не так, как надо. Сказал, что кризис среднего возраста – это вовсе не тупик, а лабиринт, из которого всё же есть выход. Что всё всегда можно изменить – перестать быть учёным, а взять и написать роман, или действительно уплыть, куда глаза глядят. Или даже на Эверест взобраться. Но только одного не стоит делать – влюбляться в этом возрасте. Да и, вообще, желательно ни в каком.

Зубер усмехнулся и ответил, что подумает над этим. Только сначала закончит диссертацию, а потом подумает. Я взял с него слово. Относительно диссертации, разумеется.

Уже вечер. После тёплого дождя грудь с особым предчувствием наполняют запахи весны. Нет необходимости запахиваться в плащ, тепло апрельского вечера уже не так обманчиво. Не хочу ждать троллейбус и отправляюсь пешком по проспекту. Я думаю о том, о чём примерно рассуждал Зубер, – что не только в природе вокруг, но и в нашей личной природе таится магия цикличности, которая с каждым годом, как, например, сейчас, заставляет думать, что и мы с каждой весной обновляемся. Не молодеем, не возрождаемся, а как бы всякий раз начинаем новую жизнь. Всё это, конечно, очень скоро забывается, но в такие минуты, пусть только лишь на эти минуты, но хочется поверить, что не существует ничего, что не могло бы вернуться.

Толгуров Тахир Зейтунович – член СП РФ, доктор филологических наук. Писать начал рано – под влиянием своего отца, известного балкарского литературоведа и прозаика, Толгурова Зейтуна Хамидовича – в старших классах среднеобразовательной школы. Первые публикации (газеты «Советская молодёжь» и «Кабардино-Балкарская правда») относятся к годам студенчества – обучался на историко-филологическом факультете КБГУ с 1981-го по 1986 год. В Союз писателей вступал как поэт и литературовед, будучи автором поэтического сборника «Пять шагов на огонь» и серии научных публикаций в изданиях СССР и РФ. Однако его творческая биография начинается с ряда рассказов, довольно благосклонно принятых читателем – «Зубрик», «Младшая сестра», «Горный ключ», «Каншау» и др. Затем Толгуров практически полностью переключился на поэзию, за период с 1991 по 2020 годы опубликовав всего два прозаических текста – рассказ «Гошка», написанный, в первой половине 80-х и сказку «Легенда о Белой птице» – где-то в конце этого же десятилетия. Стиль Толгурова – ясность слога, образная достоверность, концептуальная и идейная целесообразность повествования. Редакция «Литературной Кабардино-Балкарии» предлагает своим читателям два произведения автора – уже упомянутые «Гошка» и «Легенда...».



ГОШКА

Рассказ

Потолок дома неровен и низок, как и семь лет назад, как и всегда, сколько жив Гошка. Он открывает глаза и равнодушно смотрит на трещину, знакомую до тошноты, изогнутую, как уродливое бедро дебильной Машки из первого подъезда. Сколько бы ты ещё ни прожил, а она – слюнявая и сорокалетняя – останется твоей первой женщиной, и, глядя на эту вот трещину, Гошка всю жизнь будет слегка морщиться и раздражённо отворачиваться к окну. Теперь уже наверняка всю жизнь... Гуран, мелкий злобный Гуран, единственный, кто на равных разговаривал с Гошкой, не скрывая при этом своей брезгливости к трусости и ранней похотливости, – да, этот уже не придёт к тебе в гости, потому что уехал и выкинул своего белобрысого товарища из памяти и души. Этот Гуран, числившийся сразу в трёх дворах квартала и нигде не бывший до конца своим, всегда считал

Гошку отбросом и дураком по жизни, а его мать – неудачливой шлюхой, считал ещё в те времена, когда не подозревал об отличиях между мужчиной и женщиной. Он ещё считал, что эти три комнаты с саманными сырыми стенами – здесь, за гаражами мажорного дома по центральной и лучшей улице города, – три комнаты с выходом на сортир дяди Кости, поставленный им назло матери, эти три комнаты – то, что во веки веков предназначено для Гошки, его матери и брата. Вчера в гармошке «Икаруса» – господи, кто же кого узнал первым? Гуран ходил ещё и в «художку», наверное, он помнит лучше. Всё уходит, остаётся только то, что принадлежит тебе, и такой же кучерявый, как и раньше, и такой же улыбчивый и недобрый Гуран прослушал твой рассказ о том, как ты вылетел из училища, и вышел на своей новой остановке, подав тебе руку, Гошенька, словно удостоверяя, что твоё – косое бедро Машки на сером потолке.

И Гошка будет лежать на продавленной кровати, вытасенной когда-то из кучи металлолома до мутной ночи, пока не придёт мать. Потом он выйдет, и улица оближет его изуродованное лицо тихим гулом курортного города, заросшего шепелявыми липами и туями, покрытыми толстым слоем пыли, воняющей бензином и мочой запоздалых прохожих. Сталинские дома под черепичными крышами вылупятся сквозь крашенные переплёты окон тёплыми абажурами, и на каждом перекрёстке будут вольно стоять парни города, обсуждая свои дела, а Гоша, как стукать, будет проходить, склонив своё покорёженное лицо к нагретому асфальту – сторож или цепной пёс при чужом хозяйстве, чтобы к середине ночи вернуться к бедру своей первой женщины и сонным мухам на изрезанной клеёнке колченого столика под плюшевым озером с оленями. Ведь больше ничего нет.

Гошка садится на кровать. Мать просила выбрать доски для пристройки. Всё женить его хочет. Дура старая. Сначала был сарай, он – из сучковатых досок с неровными щелями между ними – ещё в памяти. Потом мать натаскала всякого тряпья, заткнула эти щели, обмазала всё глиной, побелила – вышла халупа. После всего мать сделала прописку и настелила пол. Сама всю жизнь так прожила, думает, ещё кто-то согласится ходить в чужой нужник втихую по ночам... Хотя, что с неё взять, для неё кое-как слепленные три каморки – целый дворец. Тут тебе и «зала», тут тебе и «куфня» – всё, как у людей. Гошеньке только пригибаться приходится с двенадцати лет – папаша, видно, постарался. Спросить бы у матери – кто? Только не скажет, потому что сама, наверное, не знает.

Гоша почесал спину и, вздохнув сочно, с потягом, с матерком, встал босыми ногами на пол, с утра вымытый с кирпичом и железной скребницей. Сейчас опять дядя Костя «сочуйстит» начнёт – как обычно, наливанный до визга в ушах и с навечно прилипшим к вывороченным губам окурком. Спит он с ним, что ли? К чёрту всё – на работу надо устроится, только бы не видеть эти рожи.

Он вышел во двор и зажмурился от солнца, расщеплённого оплыв-

шим от старости тополем, но всё равно ярким после полумрака комнат. Куча горбылей лежала под окном, вызывая лёгкое неприятное чувство, похожее на тошноту с похмелья. Мать сегодня опять притащит Лину – не то штукатур она, не то маляр, но уж то, что она проститутка, просто на морде у неё написано. На ней Гошка не хочет жениться даже сейчас, когда от него при дневном свете шарахаются дети. И Машка, сдохшая в каком-нибудь дурдоме, и Лина с её стрекозиным и смуглым лицом, облитым тусклым светом лампочки над столом, за которым она с матерью пьёт чай, хихикая и поглядывая на Гошину кровать, где лежит его безразличное тело – всё это одно и то же. Так же, как эти горбыли, обгаженные курами дяди Кости, и его сортир с вытекающей зловонной жижей, и его культа, гадко сморщенная у локтя, и обрывки монотонного разговора матери и Лины, и лохмотья её обесцвеченных волос на синюшной и рано одряблевшей шее – всё одно и то же. Хоть вой.

Скоро тополь пустит по ветру свой пух... Гоша, сморщив веснушчатое лицо и собрав гармошками – если потрогать, то кажутся они очень равномерными и, словно бы, лакированными – рубцы на лбу, посмотрел на ветки тополя и заулыбался. Это с него слезал он тогда, злой от боли настолько, что его злости хватило до земли и на три шага до Гурана, всадившего ему в зад пульку из «шпоночного» карабина. И на толчок в грудь, бросивший мелкого полудруга-полуврага в раскрытые двери сарая. Что-то там обрушилось и загрохотало, и Гоша, мгновенно испугавшийся последствий, стоя боком, ожидал медленно подходившего и растянуто, в знак особого гнева, матерившегося Гурана... Нет, трусом Гоша не был. Скорее, трусоватым. И Гуран чувствовал это и начинал бить только после долгих запугивающих разговоров, безошибочно улавливая момент, после которого рослый и сильный «Горшок» уже не мог ответить. Это потом, начав мотаться в свои горы, Гуран отвязался и, кажется, потерял инстинкт самосохранения, а тогда нюх у него был тонкий.

– Дурак ты, Гоша, – он произнёс это вслух, словно только сейчас упустил миг какого-то важного действия, шага, упустил тот момент, в который что-то изменить и повернуть по-другому всю дальнейшую свою жизнь – нищую и неудачливую.

Доски ждали его...

Доски ждали его... А единственным до конца смелым человеком был Юсик, в упор не замечавший его Юсик-Трактор. Юстан. К нему бегали за защитой все, кроме Гурана, а этот не бегал только потому, что подражал ему. Король кварталов как не видел Гошку, так до сих пор и не замечает. Обошёл, можно сказать, своим королевским вниманием. Нет, один раз, когда Гоша, своровав из садика через дорогу игрушки для сопливого тогда Мотика, убежал от парня-сторожа, и тот уже догнал было, Юсик, вышедший на обычную свою ночную, перед сном, прогулку, коротким негромким свистом остановил их обоих, движением руки отпустил Гошку

во двор, а парня отправил обратно. Тот сказал что-то не очень покорное, и уходивший с игрушками Гоша слышал ленивое и слегка удивлённое «что?» Юсика.

Он спросил тогда: «Что?» Просто спросил, без наигрыша, а действительно не веря, что вот, наконец, после долгого перерыва появилась возможность поупражнять свои железные нервы и мышцы. Юстан ошибся, вернее, парень понял, что чуть раньше ошибся он.

Хорошая память. Тяжело, если память хорошая и помнится всё. Даже то ощущение уходящего животного страха и пластмасса розово-щёкого клоуна под пальцами, глядящего в лицо так же неподвижно и бессмысленно, как ты – в его. Что же тогда произошло? Тоже упущено что-то, неуловимое мгновение, шероховатый малозаметный излом судьбы, которого так и не было. Желание вернуться и при Юсике пнуть парня? Просто посмотреть, не уходить, нет, просто посмотреть, как Трактор побьёт его, или ещё что-то? Теперь уже не понять, осталось только чувство одинакового значения негромкого вопроса Юсика и осторожной, и злобной одновременно, улыбки медленно, со значением подходящего Гурана.

И пьяная, истерзанная очередным своим мужиком мать, методично взмахивающая ремнём: «Будешь? Будешь?» – после первого побега из дома всё с тем же Гураном. И сам предложил бежать, но кричишь, что это не ты, что это он заставил, безбожно сваливая всё на Гурана, потому что того дома всё равно не бьют, тому всё равно ничего не будет, и потому что больно, больно!

Мура! Всё мура. Сорвался Гоша не туда, когда мать рожала. И вот законно лежат его горбыли, а он ещё не касался их, и скоро придёт мать и станет ныть, что вот, Гошенька, «всяко бывает» и «жить надо» и ныть, и ныть, потому что бить его она не может. Бойтся.

И тополь скоро пустит пух... Он будет летать и оседать на всю эту грязь и на Гошины поросячьи ресницы, и ветерок, гуляя, погонит пушинки вдоль охристых стен домов на главной улице – между изуродованным лицом и гладкой стеной, мягко свисающей с черепичной крыши, такой тёплой и лёгкой из-за своей окраски, «звёски», как говорит мать, и она, эта мелово-коричневая краска, постоянно остаётся на твоём плече – ходишь-то ты, Гоша, только вдоль стенок! И помнишь ты, Гоша, только то, что было давно, то, чего никак не изменишь, а разница между Горшком и Гошей та, что первый опаздывал лет на десять, и только теперь до него что-то доходит, а второй – пока что, вовсе дурак. Битый, правда, но дурак. Это уж точно.

Гошка начал разбирать доски. Тень его, сливавшаяся с краем большой тени тополя и резко сломанная со стены на землю, к босым грязным ступням, нелепо вихлялась, разрываемая метавшимися по облупленной плоскости солнечными зайчиками, продравшимися сквозь крону. Урод-

ливая, как он сам.

– И ты, гадина! – Гоша бросил горбыль и выпрямился. Тяжёлое, беспорядочное чувство стало быстро подниматься где-то внутри от паха к горлу, и привычно закружилась голова. Лупить тень бесполезно, но это бесит больше всего. Сзади раздался смех.

– Ну-у ты дурак! – Дядя Костя, высунувшись из окна, дробно тряс жирными лоскутками своего лица, и, казалось, большой его рот мелко-мелко заглатывает солнечный луч, а потом выплёвывает его, и от этого получаютя сиплые звуки.

– Что ржёшь? – Гошка сказал это, глядя мимо ненавистного ему лица, – Не дожрал? – И, не дожидаясь ответа, повернулся, чтобы уходить.

– Ещё обижаешься? Два часа сам с собой матюгается и ещё обижаешься! – сосед, как всякий старый алкоголик, вспылал мгновенно и автоматически, по привычке часто битого человека, размахивал кулечей, выставляя её далеко вперёд и демонстрируя, что он – калека.

– А пош-шёл ты... – Гошка грязно и длинно выругался, сунулся к себе и, пригибаясь и обрывая занавески, которыми были завешены дверные проёмы, прошагал в дальнюю большую комнату, чтобы не слышать мата дяди Кости.

Здесь – а это был тот самый сарай – три окна. Два из них выходили в чей-то огород – дома числились на Пушкина, и Гошка даже не знал хозяев – а одно в среднюю комнату. Он лёг на древний диван с вытертой дерматиновой обивкой, очень давно выпрошенный матерью у какого-то директора или его зама, не погнушавшегося молодой техничкой, и бывший с тех пор самой ценной мебелью в их доме, лёг, положив голову на чёрный валик, чтобы удобно было смотреть в окно. Там тёрлась о стекло ветка вишни. Цвет уже почти отлетел, когда Гошка был маленький, он разбивал стекло – когда-то намертво вмазанное в стену окно не открывалось – и ел кислые ягоды. Так ни разу не дотерпел, пока они поспеют. Есть, что вспомнить, если приспичит.

Ещё у Гошки была клюшка. Толстая, неуклюжая, тяжёлая клюшка из слоённой фанеры, которую он для крепости ещё и подбил мелкими гвоздиками и обмотал лейкопластырем. Он становился перед воротами, и, после распасовки, Гуран или Бэшен скидывали ему шайбу – бей, Горшок! Вымахавший на голову выше сверстников Гоша сажал так, что со стен сараев отлетала штукатурка, и никто, даже придурак Косой, не хотел рисковать и оставаться в этот момент на воротах. Только попади, Гоша!

Клюшку потом разбил Ганух, тот самый, который был старше на четыре года и ходил до десятого класса в шортах, за что получал регулярные пинки от Юсика. Ганух, играя в «пёрышки» – в «банк» – с Гошкой и Гураном, после того, как Гуран с первого же броска с зашагом выбил Гошкин «бомбик», и тот начал спорить и доказывать, что с зашагом не договаривались, Ганух сказал: «Отдай, а то умрёт». И Гуран тогда не отдал,

а отдал на следующий день, утром.

И потому все они были рады, когда Гошка приехал из лётного с инвалидностью. Все, кроме Гурана – этот не был полностью уверен, что Гошка вонючий, грязный, жадный, тупой и нищий, и что у него нет отца, потому что мать его не помнит, и что в дом к нему нельзя заходить. И кроме Юсика, который не знал, что есть Гошка.

– Гурану тоже дерьма отхлебать не мешало бы, – Гошка сказал это, засмеялся и повернулся на живот, уткнувшись носом в уголок между валиком и спинкой дивана, царапающей щёку крошками оставшегося кожаного заменителя.

Им бы золотушного Мотика с тонкой жилистой шеей под бок, чтоб орал ночами и мочился на общую постель. Или храпящую и воняющую перегаром мать, и хорошо, если одна. И Саламандру, которая не хотела, чтоб Гоша был пионером. Сначала не хотела, чтоб Гоша был октябрёнком, по крайней мере, в её классе, а потом – чтоб был пионером, потому что она не любила «грязных мальчиков». Ну, и плевать на всех этих дружных ребят, но это теперь, а не тогда... Мать – трезвая, пьяная – ходила в школу и лупила страшно.

Мотик же, как был сыкун, так им и остался. Гошка уже работал в аэропорту, а у младшего стали появляться то джинсы, то кроссовки, и хрустеть в карманах, а мелочь он считать перестал. И крысы, что ходили с ним – длинноногие, с наглыми притягательными глазами – ходили не абы с кем, а чтоб не стыдно было. Кукуй теперь братушка, удобряй аммиаком пихты. Для всех же – что Гошка тронутым вернулся, что Мотик «залетел» – разницы нет.

Вот на мотиковской Алёнке Гошка женился бы, хоть она и похлеще Лины. Потому что снилось ему всю жизнь что-то похожее – лёгкое, тонкое, нежное и бесстыжее, как цветок дурмана на свалке. В училище такие, подходя по вечерам к забору, кричали: «Курсанты, выходи, кому надо!» И Гоша выходил вместе со всеми. Но те были грубы, а голоса их хриплы после водки и дешёвых сигарет. Хотя, вся разница в том, что там город побольше и училище есть. И за забором – толпа здоровых молодых парней.

Но Гошка не Мотик. Младший, с зелёных соплей видевший то же самое, что видел и Гошка, но видевший это как бы свысока – совсем чуть-чуть, а всё же не из такого дерьма выглядывавший, потому что стоял он на плечах брата – нет, он не хотел перекошенных ворот в переулке и застарелого запаха грязи и вечных кислых луж, и ворованные дешёвые игрушки терпел, только пока не понял, что есть кое-что поинтересней, чем целлулоидный крокодил, забытый в песочнице хорошо одетым и чистым пацаном, и потому, немного подросши, начал Мотик дёргаться в разные стороны, ища выход из тесного дворика с падающими лачугами, сальными стёклами окон и пьяными, заворачивающимися в переулок по нужде. Его не привлекал чёрный туювник, росший над выгребной ямой, и раз-

влечение в виде щелей в заборе, за которым кто-нибудь из пришедших мял податливую женщину из их переулка. Мотик не хотел ни потолков, прогнувшихся в без того убогое пространство комнат, ни той постоянной слякоти у ворот, в которой, будучи ещё ползунком, копался, и которая ничего, кроме раскисшего мусора и слизи, в себе не таила. Когда Мотик понял, что полубредовые рассказы, выдранные из примитивных дворовых переложений приключенческих книг, не имеют никакого отношения к этой грязной луже, тогда как всё остальное было непосредственно с ней связано – тогда Мотик начал предпринимать более серьёзные действия.

Гошка отлично видел, как он тыкался, словно щенок, пока не понял, что не хотеть чего-то – совсем не значит взять другое, особенно если есть люди, считающие, что это другое тебе не принадлежит. И туп ты или умён – должен хорошо понимать, что когда тополя сбрасывают свой пух, то они делают это по-разному. Для одних – на траву газонов, для других – в канаву с жижей. И если ты опущен с рождения, то ты несёшь это в себе, как странную тайную печать греха твоих предков, не вынырнувших в своё время на поверхность жизни, тех, что предпочли легко и просто опуститься на дно, предав таким образом и Гошку, и Мотика. Дно есть всегда и везде, и когда сбудутся хорошие и красивые сказки, оно всё равно будет продолжать своё существование, и кто-то останется жить на этом самом дне; может быть, даже те, кого уже предал сыкун-Мотик. И даже ценой Алёны и ещё миллиона лучших, чем она, Гошка не согласился бы нырнуть в вязкий ил, как это сделал брат. Но теперь уже нет шансов...

Тогда, в туалете, когда Гошка не встал на колени и по лицу Игоши понял, что его будут бить, он сделал то, чего никогда раньше в жизни не делал – пренебрежительно усмехнулся в одинаковые, зализанные жёлтым светом, злостью и любопытством лица, тесно сдвигавшиеся к нему, стоящему спиной к белому и равнодушному кафелю. Всё, что они могли дать ему, он уже видел, как и то, чего они не предполагали. Кажется, он улыбался уже и после того, как его сбили чем-то тяжёлым сзади, и именно эту ухмылку кто-то сильно постарался вбить обратно, в его тупую голову, сквозь редкие окровавленные волосы. А кого он не раздражал? Таких людей попросту не было. Гошка, не становящийся на колени – то же самое, что их комнаты со стерильными полами, а такие вещи злят куда больше, чем просто трусость без предела. Чистых ублюдков не бьют, ими брезгуют, но когда оказывается, что он не согласен быть до конца ублюдком...

Он слишком долго – всю жизнь – прожил тем, в кого плюют, когда больше делать нечего, он привык им быть, и эта привычка сидела у него в коже, в его походке и движениях, в мимике, в водянистых глазах, в тяжёлых мышцах. Ладно, пусть хотя бы так. Но его мать ещё с упорством сумасшедшей каждое утро выскребала пол, выскребала, ползая на коленях, с натугой проталкивая воздух сквозь краснеющее до синевы лицо. «Сдохнешь когда-нибудь», – говорил ей Гоша, просыпаясь в пред-

рассветных сумерках от равномерного и тоскливого визга скребка. Мать поднимала потное лицо с прилипшими к нему космами блёклых волос и пусто улыбалась сквозь сына. В такие моменты Гоша ненавидел и презирал её животное и ничем не объяснимое упрямство, граничащее – он это чувствовал – с инстинктом, но, оказалось, что и в нём самом жило что-то похожее, какой-то обломок... Гордость или чувство собственного достоинства? Неважно, главное – ничтожная кроха чужеродных понятий жила в нём, и, когда дошло до дела, её оказалось достаточно, чтоб не стать на колени. Гоша знал, что это в нём есть, так или иначе, знал, а среди тех, в туалете училища, у белых кафельных стен, гладких, как тоска, многие понимали, что в них ничего такого нет. Просто жизнь не дала им цену за то, что они станут на колени. И ещё все они ощущали плотный, похожий на мясной, запах униженности, пропитавший Гошу до мозга костей. Сами же они ничем таким не пахли и считали, что есть несовместимые вещи.

Мура это всё, мура. Человек похож на свою кровать, на свою одежду, источает запах своей пищи, своего воздуха. Каждый – лишь отражение окружающего, и к ним мерзость прилипала бы лучше, потому что ты – не только там, где ты есть, но и там, где можешь оказаться. Чем дальше ты хочешь, тем больше ты есть. Надо долго ползать на брюхе, чтобы понять такое. Жалко, что Гошка потерял всё именно тогда, когда постиг эту главную малость.

Никогда уже он не придёт сюда просто так, припоминая «трудное детство», строгая, жёстко подогнанная форма – что форма! Плевать не надо! – не впечатается в больные краски двора, крича, показывая всем, что он – так, просто так здесь, что он здесь не живёт!

Заляпанные стены гаражей с неизменной бурой кромкой у земли, медленно наплывающие ворота с косо сидящей на ржавых петлях калиткой; шавка, когда-то давно подаренная Гошке – ему обещалось, что щенок вырастет в овчарку, но он остался мелкой моськой с тонкими и кривоватыми ножками – встречающая его вилянием облезлого своего обрубка; кучи хлама у глухой стены фабрики, которой заканчивается переулок, и куда жители всего квартала выносят крупный мусор; красное колено дымовой трубы, большое и гулкое, неуклюжий «танк» их с Мотиком детских игр; выжатое лицо Команихи-сводни, высматривающей клиентов для своих кормилиц – в окне за грязной занавеской. Мат дяди Кости, смазанные лица калек-домов, в которых всё настолько одинаково, что глаз не воспринимает их как отдельные человеческие жилища. Берлога... Логово дожины огрызков, обглоданных жизнью.

Всё вместе это должно уместиться в сколько-то годов Гошкиной жизни, потом переползти к его с Линой детям, потом дальше, дальше – как беспорядочный, бесцветный, тягучий и болезненный сон, в котором последние яркие пятна – медсестра, с натянутой улыбкой глядящая на голого Гошку и сообщающая кому-то, что «рефлексы ненормальны», зам-

полит, с усталым лицом объясняющий, что училище славится, имеет традиции, что не надо, не стоит выносить сор из избы, что товарищи жалеют, прониклись, собрали... И пачка денег – цена за мать и дядю Костю. И всё остальное, с небом и тополем.

Гошка застонал и вышел, как выпал, из дремоты. За стеклом и веткой уже темнело, в комнате стояла тишина, волнами подтачиваемая жужжанием ленивых мух у лампочки и её витого провода.

– Сволочь ты, – сказал он щербатой замполитовской пасти и, после того, как звуки его голоса бесследно канули в неправильном объёме комнаты, полупрозрачном и изменчивом, понял, что лежит на полу лицом вверх. Ныло над виском – видно, ударился, когда падал – щека была мокра от слюны, вытянувшейся из уголка губ. Гошка полежал, прислушиваясь к звукам из-за стен и прикидывая, что сейчас будет делать. Стена с вишней молчала, как всегда, остальные привычно бубнили, есть не хотелось, и, хотя ещё было рановато, Гошка решил выйти.

Хотелось курить и идти. Идти, чтобы ушёл появляющийся к вечеру зуд в черепе, покалыванье во всё теле. Гошка оделся, выпил холодного чая, вышел во двор. Солнце упало на белёные стены бывшего Гурановского дома и теперь висело там ровными, неуловимо тонкими полотнами, цедающими нечистый ветер с замусоренных крыш гаражей и убитой ногами проходящих глины переулка. Гошка оглянулся на закрытое окно дяди Кости и двинулся со двора. Ему нравилось, после того, как он вернулся из училища, ходить по улицам, наблюдая, как уходит под его туфли и дальше, назад, отшлифованный гравий асфальта главной улицы. Пятно чётко видимого, ограниченное с одной стороны собственным, шевелящимся в такт шагам телом, с вылетающими из-под него ногами, оно это пятно, последовательно втягивает в себя сиреневатую поверхность, плоские окурки, край плиты вертикально вверх уходящей стены дома, полоску тёмных, выбитых каплями с крыш клякс асфальта, похожего на полупротаявший наст, трещины, заполненные пылью и горелыми спичками и, иногда, с изжёванным подошвами зелёным ростком, конечно же, жалеющего, что вылез в эту узкую щель, всякая мелочь... Гошка старается не поднимать головы.

Он шёл вниз, до недавно построенного подземного перехода, чтобы там, как обычно, перебраться на другую сторону и пойти обратно. Подземный переход всегда манил его, он задерживался под землёй, каждый раз, всем телом, плотая это странное ощущение. Когда машины с мягким рокотом и сотрясанием воздуха проносились над ним, а белые плитки за спиной ожидающе застывали, он начинал улыбаться, как тогда – криво и безразлично, пугая торопящихся по своим делам людей. С неясным царапающим чувством в душе он выходил на поверхность, на середину проспекта, и шагал вверх, глядя на расплывающиеся в ночном небе огни телебашни, от которой и начиналась главная и лучшая улица горо-

да. Огни дрожали в его близоруких глазах неправильной буквой «т», и, в секунды помутнения сознания, всё чаще и чаще поглощавшие его, они превращались во взлётную полосу, уходившую за неровный, зубчатый край мира, не давшего ему ничего, кроме грязного дворика со старым тополем и солнцем за крышами гаражей. И, может быть, сегодня, может быть, завтра, но ждать осталось немного, он придёт домой, и постаревшая мать попытается, спасая его от чёрного безвременья, пугающего лишь своей непроглядной чернотой, положить его в постель с синюшно-смуглой Линой – ведь дура-мать не знает, что бывает что-то другое.

Гошка уйдёт из дома, отталкивая бессильные и цепкие руки старухи, и выйдет на эту вот улицу, и она будет безлюдна и внимательна, и на её тёплый асфальт ляжет гулкое эхо и шелест стриженных лип, из-за которых окна с крашеными переплётами возмущённо выпучат уютные абажуры. Улица будет такой же чужой для Гошки, как и сейчас, и, не слушая слабые крики матери, он зашагает на огни своей взлётной, на первый и несбыточный рывок к небу, туда, за горизонт, за зубчатый край вонючего переулка, туда, где он хотел быть... Машины осветят его слепое и обезображенное лицо, менты на перекрёстках молча и неприязненно посмотрят вслед, и всё останется таким до его возвращения, потому что всё ЭТО знает, что Гошка всё равно вернётся.

Гошка всё равно вернётся к косо́й трещине на сером потолке и к чёрному канцелярскому дивану с уродливой стрекозой Линой на нём, чтоб она нарожала ему детей, если, конечно, такое ещё возможно, и, скорее всего, они пристроят ещё одну комнату к своей конуре, купят старый телевизор и холодильник – тот самый, что в комиссионном присмотрела мать. Дешёвый.

Пусть Мотик взлетает и залетает столько, сколько посчитает нужным, а Гошка хочет знать, откроется ли перед ним узкий разрез горизонта, так неудачно захлопнувшийся на этот раз, и, если уж он не стал на колени даже ради этого призрачного и желанного просвета, то можно думать, что пух слетает с веток не единожды в жизни. Ведь Гошка успел понять, что человек – не только там, где он есть, но и там, где он хочет быть.

Потому что сейчас Гошка молча идёт на огни, расплывчато и слабо дрожащие в летнем небе, и шаги его подхватывает лежащее на тёплом асфальте эхо, и липы шелестят стриженными кронами. Гошка мерно шагает по оси главной улицы города, подняв покрытое шрамами лицо, безмятежно улыбаясь разорванному краю земли, потому что ночь уже легла на город, потому что ночью город не видит его измятого чужими каблуками лица.

ЛЕГЕНДА О БЕЛОЙ ПТИЦЕ

Клянусь говорить правду, одну только правду, ничего, кроме правды... Нет срока дням земли и дням огня, а вода была вечно, но в семи мирах, доступных человеку, бесконечна лишь его любовь, и будет забыто все, и останется одна любовь, любовь человека – дарительница разума и счастья.

Нет срока дням земли и дням огня, а вода была вечно... Я же живу так давно, что уже забыл, каким было небо в миг моего рождения. Слушайте же меня, столь мудрого, что ничтожная крупица моих знаний способна успокоить безмолвным сном страха перед разверзшейся бездной, слушайте, ибо я говорю правду, одну только правду, ничего, кроме правды.

В далёкие незапамятные времена жил-был Рыцарь. Обыкновенный Рыцарь, как все рыцари. Правда, может быть, это был Витязь, но важно то, что он был. Посчитаем же его Рыцарем. Итак, я сказал уже, что был он – как все. Охотился на диких зверей, защищал слабых, бился с чудовищами, ухаживал за дамами, дрался на турнирах, покупал за бешеные деньги коней-чистокровок – в общем, обычный заурядный Рыцарь.

Единственное, чем он отличался от всех остальных рыцарей, баронов, графов, герцогов и даже принцев – тем, что крайне не любил бить сарацинов. О, нет! Ему приходилось это делать, все же он был рыцарь, не какой-то негоциант, а рыцарь. И, как всякий уважающий себя рыцарь, время от времени он включался в процесс битья неверных – по всей видимости, мавров – делая это, как и положено, во славу господню и достаточно добросовестно. Особого рвения, однако, не проявлял, потому ходили упорные слухи, что Рыцарь – рыцарь со странностями.

Все прощалось Рыцарю, ведь он был обладателем огромной и богатой души, и часто кавалькады весёлых всадников и всадниц с глазами сладкими, как сказания Иерусалима, охотились в буйных лесах его Щедрости или разыгрывали пасторали на зелёных лужайках его Сентиментальности. Любой был не прочь побродить в этих благодатных краях, но, увы, тяжела рыцарская доля – сезоны крестовых походов так долги, а перерывы между ними так коротки! Каждому, как известно, своё: крестьяне пашут, ткачи ткут, кузнецы куют, воры воруют, судьи наказывают, ну а рыцари воюют за веру.

И все шло своим чередом, и не было бы никакой легенды, так как неисповедимы лишь пути небес, а судьбы людские все одинаковы – родился, вырос, прожил, умер, и кто не верит этому, пусть спросит у меня. Да, все шло своим чередом, но вдруг появилась Дама.

Представьте, как это было необычно: кругом одни Джульетты, Эльвиры и Элеоноры, а тут – на тебе, Дама! Принц крови почти сразу предложил ей руку и сердце, на что она ответила: «Извините, я собираю только

души, а душа принца у меня уже есть». Эта Дама была предерзкая особа!

Но она сказала правду, да и как могло быть иначе, если настоящая дама, уважая себя и помня о чести, находится в приличном обществе? Она может быть дерзкой, может быть жестокой, может быть коварной – в конце концов, перечисление допустимых качеств надоедает. Воистину – как плохо ни думаешь о человеке, а он может оказаться ещё хуже! Поэтому дамам, в частности, нашей Даме, позволяется все. Все, кроме одного – лживости. В сущности, безбоязненная честность является единственным отличительным признаком действительных дам. Любой рыцарь может точно угадать даму по этой благородной черте и ни разу не ошибиться, если будет помнить, что дама не обязательно говорит правду. Может быть, я слишком мудр, но постарайтесь понять меня: настоящая дама ВСЕГДА говорит правду тому, кого предпочитает её сердце, а иногда и другим незаинтересованным лицам.

Итак, она сказала правду. Дама собирала души, хотя отнюдь не относилась к дьявольскому корню. Здесь мы подходим к главной грани вопроса об отличии дамы от всех остальных, в нашем случае – от черта. Последний, как известно всякому мало-мальски сведущему человеку, может принимать любое обличие, но при этом ноги его остаются кривы и волосаты. О, рыцари! Не забывайте смотреть на ноги своих избранниц!

Вернёмся, однако, к нашей Даме. Она была истинная дама по всем параметрам. Коллекционирование душ являлось её хобби и придавало ей, как она считала, особый шарм. Души так и копошились, так и кишели вокруг ног, летали у лица, причём, более мелкие питались взглядами, а те, что покрупнее, нагло срывали с губ Дамы прекрасные улыбки. И тут же пожирали их. Многие души уже сморщились и полиняли, но Даму это вовсе не заботило. Вполне понятно. Душа для сохранения своих специфических свойств и характерных черт должна находиться на месте, а не ползать у чьих-нибудь ног, пусть даже это будут ноги дамы. Кроме того, товарный вид наличествующих душ и не мог интересовать Даму – дама есть дама, она не продавщица в магазине «Кооператор».

Какой-то герцог познакомил Рыцаря и Даму. Он сказал: «Познакомьтесь, это – Дама, а это – Рыцарь». Но он мог бы обойтись и без этого, потому что не только подлецы чувствуют друг друга, но и многие аристократы тоже. Суть в том, что Дама перестала разбрасывать по сторонам свои восхитительные улыбки, а Рыцарь – шутки и смех, на которые он был большой мастер. Они взялись за руки и постояли так.

Долго ли это продолжалось – неизвестно, но настало время, и Рыцарь пригласил Даму к себе в Душу. Одну. Такое случилось впервые. А уже шли снега, и до крестовых походов оставалось совсем немного. Но лишь весной Дама, наконец, решила принять приглашение. Она отпустила руку Рыцаря и подумала: «Такой души нет в моей коллекции». И сказала: «Хорошо, как-нибудь я навещу вас».

Как видите, дамы не сильно отличаются от женщин. Рыцарь же стал готовиться к приёму. Прежде всего, он быстренько сходил в поход на сарацинов, хорошенько, с настроением, побил их и вернулся. Все, конечно, возмутились бы таким безалаберным отношением к своим прямым обязанностям: «Как это так, какая безответственность?!»

Как всегда, сильнее всех возмущались бы рыцари из аппарата Папы и разных королей, никогда не бывавшие в святой земле, но прекрасно разбиравшиеся в тонкостях военного дела, в смысле его материального приложения – шпоры, седла, узоры на доспехах, цвета гербов, форма стремян и длина шрамов. В то время был моден макияж в виде шрамов, потому что Ричард Львиное Сердце как раз отсутствовал.

Рыцарь не избежал бы неприятностей по рыцарской и дворянской линиям, но он исхитрился за свой короткий поход отбить у сарацинов какую-то там плащаницу и подарить её самому Папе. После этого молодые, перспективные рыцари из разных аппаратов были вынуждены поправить узенькие – чтоб не мешали в битвах – шейные платки дам своих сердец и приняться за составление булл по инстанциям.

А Рыцарь уехал к себе в Душу и стал ждать Даму, высаживая розы Приязни и кипарисы Восхищения, где только мог. Дама знала толк в сердечных делах, поэтому приехала сразу после дождя, трогательно вымокнув по дороге. Она приехала и сразу посмотрела по сторонам, ища Душу Рыцаря, и все остальные души, кружившие вокруг неё, сразу зароптали и забились. А Рыцарь спросил:

– Вы не сильно замёрзли?

– Я не боюсь дождя, – гордо ответила Дама и захлопала в ладоши – Ой, какой красивый лебедь!

Лебедь плавал по зеркальной глади озера Мудрости, и Рыцарь тут же подарил его Даме. Вполне вероятно, он поспешил, но рыцарь без страха и упрёка может поспешить только с нашей точки зрения, а на самом деле они все делают именно тогда, когда это необходимо.

И дни полетели один за другим, лучшие дни их жизни, подобные лёгкому ароматному вину, пьянящему незаметно и сильно. Но ни Дама, ни Рыцарь даже не предполагали, что засыпать в сладком предвкушении завтрашнего дня – так много. Что делать, это человек – пока у него не болит сердце, он не знает, что оно здорово, точно так, как не замечает своих здоровых глаз, рук губ...

Дама... Она была виновата в том, что дни становились все короче и короче. Коллекционер и женщина боролись в ней, и это приводило к тому, что Рыцарь становился все нужней и нужней Даме, и с каждым часом ей все меньше и меньше хватало его слов, взглядов, голоса, улыбок. Конечно, Дама все время была озабочена тем, что высматривала душу Рыцаря, и каждый день он дарил ей целую кучу животных. Вечером Дама понимала, что душа ей не досталась – ведь это видно по поведению Рыцаря,

и обижалась, и злилась, и нервничала, вспоминая, помимо всего прочего, что день пропал, что вместо того, чтоб смотреть на Рыцаря, она, как дура, высматривала то какого-нибудь оленя, то ещё что-то.

И вот однажды, во время прогулки вдоль реки Спокойствия, высоко-высоко в небе Рыцарь увидел ослепительно блеснувшую в лучах Солнца точку. Он так долго смотрел вверх, что его спутница заметила это и спросила:

– В чем дело, мой друг? – улыбка Дамы, как всегда, была безмятежна.

– Птица. Никогда раньше я не видел её в своих владениях.

– Ах, это? – Дама негромко засмеялась. – Это моя Птица.

– Ваша? – спросил Рыцарь и едва заметно нахмурился. Он не любил, когда кто-то появлялся в Душе без его разрешения.

– Да, это моя Птица. Во всяком случае, сколько я ни помню себя, она летает только надо мной. – Дама, казалось, гордится тем, что какая-то неизвестная птица летает над ней. – Я называю её просто Птицей.

Рыцарь промолчал. Он видел, как день ото дня копится фиолетовая тень в глубине зрачков Дамы и уже знал, что лето с его солнечными бликами, заснувшими на цветной гальке парковых аллей, на исходе.

И вот Дама проснулась. «Что я здесь делаю?» – спросила она себя и, встав с постели, подошла к окну. Внизу, во дворе, резвились и бегали все звери, подаренные Рыцарем. Но души Рыцаря среди них не было, и Даме стало обидно. Как, она пожертвовала собой, приехала в эту глушь, где нет ни галантных кавалеров, ни интересных сплетен, где, в конце концов, никто не устраивает турниры в её честь, и после этого ей до сих пор не принадлежит душа Рыцаря?! Это просто невоспитанность с его стороны! Она не привыкла к такому обращению и сейчас же пойдёт и скажет об этом нечуткому, нетактичному Рыцарю. И Дама пошла к Рыцарю, упражнявшемуся в сбивании звёзд с неба, и сказала:

– Друг мой, мне кажется, что пора уезжать! – И подумала при этом, что Рыцарь посмел её обмануть, заперев свою чёрную душу – а что она именно такая, сомневаться не приходится! – в какой-то из подвалов замка. Фи, как это нехорошо!

Как видно из этого, Дама разгневалась. Рыцарь же был человек не глупее нас с вами, и то, что поняли мы, он чувствовал отлично. Поэтому он поклонился и ответил:

– Ваши решения для меня святы, сударыня.

Дама мило улыбнулась в ответ и, поднявшись в свои покои, разорвала по крайней мере дюжину шёлковых платьев. Но делать было нечего, как всегда бывает, когда сердце и разум в раздоре и на престол восходит его Величество Глупый Шаг. Человек не может поверить, что дела обстоят не совсем плохо, и вот, чтобы точно оценить обстановку, он делает глупость и, удостоверившись, что ему стало хуже, с удовлетворением говорит себе: «Итак, я был прав – мне было хорошо»

тогда!»). Ни дамы, ни рыцари не застрахованы от этого.

Поэтому, подъехав к выходу узкого и тёмного ущелья, бывшего единственной дорогой в Душу, Дама остановила коня.

– Друг мой, – сказала она, бросив бархатный взгляд на Рыцаря, – дальше дорогой безопасна, и я поеду одна, провожать меня не стоит.

– Но... – начал было Рыцарь.

Однако Дама перебила его:

– Да-да. Не стоит! Лицо её приняло несколько высокомерное выражение, а уж в таких делах Дама была очень, ну, очень искусна. – Что могут подумать люди? Это во-первых. Во-вторых, мой личный эскорт никак не уступает в надёжности такой охране, как вы! – И Дама указала на кучку увядших душ, переминавшихся чуть поодаль.

Это было явное оскорбление. Рыцарь улыбнулся и сказал:

– Ну, что ж. До свидания, Дама.

Он сказал только то, что сказал, да и делать больше ничего не оставалось. Но лучше бы он упал на камни ущелья Недоверья и умер! Увы, умереть он не мог, ибо был молод, падают же рыцари только тогда, когда умирают. Рыцарь сказал это и ждал ответных прощальных слов Дамы. И он их дождался:

– Рыцарь! – улыбка женщины неожиданно стала тонка и остра, как лезвие толедского стилета у неё за поясом – Посмотрите вверх. Вы видите мою Птицу. – И Дама засмеялась так, как умела смеяться только она – свободно и нежно, печально и сильно – так, как падает лепесток розы с благоуханного венца, так, как в ночи кричат заблудившиеся лебеди, так, как заря погибает в небе, чтоб пришёл новый день!

Она засмеялась и сказала:

– Это моя, только моя Птица. Она всегда парит надо мной. Посмотри же на неё и скажи мне «Прощай!» – больше ты никогда не увидишь этих крыльев!

Дама хлестнула коня и ускакала, и ветер долго шелестел на морщинистых и мрачных скалах ущелья, и дикие оранжевые маки долго качали головами. Так они расстались.

Прошли крестовые походы. Некоторые были удачны, другие – не очень. Все менялось, менялись люди, города и страны. Уже не было Ричарда Львиное Сердце и многих других, зато появились новые, похожие и непохожие.

Рыцарь жил в своей Душе, Дама продолжала свою коллекцию – это так прекрасно, когда есть что-то постоянное! Улыбки и смех Дамы оставались такими же сказочными, шутки Рыцаря – такими же весёлыми. Говорят лишь, что глаза Дамы стали глубже, а голос Рыцаря жёстче, но это всего лишь говорят. Чужая душа, до тех пор, пока она не попала в коллекцию, покрыта мраком тайны, мы не можем знать ничего, а потому будем говорить только правду.

В полдень, когда тени коротки, а мгновенья протяжны, Рыцарь увидел Белую Птицу. Она летела над бескрайним полем Ожиданья, величаво расправив свои блистающие крылья, и небо было сине до слез, и оно скользило и хрупко звенело на кромках её тугих перьев. Рыцарь помнил, что Птица летает лишь над Дамой, и мы не будем говорить, что сердце его забилось – мы этого не можем знать – нет! Мы не будем. Рыцарь просто поехал навстречу.

– Здравствуй, – сказал он и улыбнулся.

– В последний раз я выразилась немного резковато, – ответила ему Дама и тоже улыбнулась. – Я приехала извиниться за свою грубость и надеюсь, что не сильно обидела Вас.

– Что вы! – удивился Рыцарь, и они поехали рядом.

А в это время стоял май месяц – душный от запахов сочных трав май. Птицы, уже свившие гнезда, были ещё беззаботны, и их песнями были густо напоены вечера и лёгкие вечерние ветра, ласково обдувающие кожу. Свирепо цвели огромные, невиданные цветы, источавшие тонкие ароматы, кружившие голову, напоминавшие об Эдеме, на пыльные и горячие солончаки выползали ядовитые гады и нежили в солнечных лучах кольца своих влюблённых тел, и терпкая полынь серебрилась в их непрозрачно-тусклых глазах, и дни пролетали незаметно, захлёбываясь плотным светом солнца, стрекотанием насекомых, гулким полумраком лесов, короткими и бешеными ливнями, после которых от тучной земли клубами поднимался в небо тяжёлый дух плодородной и жирной почвы, не могущей исчерпать в себе жизни.

О чем думали Дама и Рыцарь зябкими до хруста утрами, когда едва взошедшее солнце начинает жечь лицо? Фиолетовый лёд в глазах Дамы стаял, голос Рыцаря стал гортанен, и нельзя знать того, что скрыто от нас, но я говорю: «Они думали друг о друге», ибо Дама любила Рыцаря, а Рыцарь любил Даму, и говорю это я – вечный и мудрый, говорящий одну только правду.

«Люб-о-о-офф!» – посмеются те, чей куцый ум не идёт дальше слов «положено» и «не положено». Да! Им это чувство не может дать ничего, кроме изжоги, потому что оно и не посещает их. Ведь нельзя назвать любовью слюнявые переживания гладеньких молодых людей в промежутках между приёмами пищи, не опускающиеся ниже границ приличий и не поднимающиеся выше пределов дозволенного. Никто из них и не подзревает, что и свинью можно приучить носить одежду, есть за столом, считать и складывать, но она от этого не станет человеком.

Есть и другие – мнящие себя сильными, но всего лишь жестокие люди, не признающие любовь, хотя и знающие о её существовании и презирающие её как слабость...

Но я рассказываю о Рыцаре и Даме, отнюдь не о трусах, закрывающих глаза лицемерным и бессильным прищуром... Вернёмся к сказанию

о Белой Птице, ведь время не существует только для Дамы и Рыцаря, для всех же остальных, и для нас с вами время – странная вещь, имеющая обыкновение проходить и таять.

Оно шло – плавно и мощно – и настал тот день, и Дама сорвала цветок и протянула его Рыцарю:

– Посмотри, он увял. – И лёгкая тень мелькнула на прекрасном лице.

Они стояли на склоне, покрытом волнующимися на ветру травами, Белая Птица парила над ними, и облака быстро летели по гладкому небу, время от времени захлёстывая солнце рваными краями.

– Нас это не касается, – тихо сказал Рыцарь Даме, но слова его были невнятные, и Дама чувствовала это. Она грустно улыбалась Рыцарю, а он продолжал:

– Нас не касается это, потому что мы растворимся друг в друге, потонем в душах друг у друга, а церковники говорят, что души бессмертны.

Но Дама усмехнулась:

– Дорогой друг, душа бессмертна, но тело стареет. Мы вышли из реки Времени, но оно, время, в нас, и мы беспомощны. . .

Дама была права, как всегда. То, о чем она слабо догадывалась, ещё не выразалось словами и чувствами, но уже слегка царапало краешек сердца, сгоняя с губ улыбку и заставляя сдвигать к переносице тонко выписанные брови. Жизнь такова, что люди, слабые духом, неизбежно приходят к её концу, по тяжёлой этой дороге теряя молодость, друзей, счастье. Сильные же умы не тратятся на мелкие трепыхания сущего и потому бессмертны. Избранные настолько неподвластны серому нашему бытию, что лишь собственные их души могут погубить таких людей, лишь собственные страсти надламывают стержневую основу их жизни, лишь они сами могут победить себя, проложить дорогу в царство теней. В каждом из них – своё мироздание и своё время, и распорядку внутреннего его шага подчинены они, только лишь сокрушающим толчкам собственного сердца. . . Дама и рыцарь были именно такими людьми.

Но лишь теперь она стала понимать, перед каким выбором поставлена Рыцарем. Она уже знала, что есть душа Рыцаря, знала, что, ни секунды не задумываясь, он отдаст Душу, положит к её ногам, даже не спрашивая, что она сделает с ней. Смешно! Остатки коллекции все ещё вертелись вокруг, совсем недавно это так забавляло – теперь же перед ней лежала бескрайняя Душа Рыцаря, и вся она могла принадлежать ей. Может быть, не вся целиком, ибо и сам Рыцарь не знал границ своих владений, а следовательно, не мог их подарить полностью. Неважно. Цена за обладание Душой Рыцаря была – смерть!

Любовь его была безмерна, она давила, рвала тонкие струны сердца, сжигала, и Дама постоянно чувствовала себя на краю пропасти, имя которой – Ничто. Лишь оно, великое и непонятное, не имеет пределов, первопричины и цели, лишь его можно сравнить с истинной любовью. Пусть

те лжецы, что твердят о созидающей любви, и те негодяи, что бормочут о хаосе этого чувства, прислушаются к словам того, кто безмерно мудрее их! Любовь не добра и не зла, это не чувство, не страсть, не мысль, не дух... Нет ничего, что сравнимо с ней, лишь великое Ничто. Но если Любовь – способ существования для людей, в своём величии ушедших вверх, то Ничто ждёт нас всех внизу. Мы, простые люди, обитающие меж двумя субстанциями, нам снятся мутные кошмары от вползающих по ночам испарений, наши сердца болят от безжалостных граней истинной Любви, и мы послушно катимся в ветре времени к чёрному кругу смерти, однако это мы – слабые люди. Рыцарь же и Дама могли спокойно стоять на земле, провозжая взглядами сухие клубки перекасти-поля, стремящиеся к горизонту. Но они поднялись в высокую сферу Любви, а чем выше от поверхности планеты, тем сильнее ветер, и там, за нежной хрустальной гранью, голубовато отблёскивающей на солнце, там – вечный ураган, выстоять против которого не в силах даже Рыцарь и даже Дама!

И Дама уехала. Она уехала ночью, тайком от Рыцаря, и спустилась по ущелью на равнины, на низменные равнины, где кавалькады весёлых всадников устраивали турниры для своих благородных спутниц, где всюду шла соколиная охота, где крестьяне пахали, ткачи ткали, кузнецы ковали, воры воровали, судьи наказывали, ну а рыцари воевали за веру. Дама, конечно же, заняла в светском обществе подобающее ей место, и – она была сильная женщина – никто не мог сказать, что чаша смертельного знания до дна выпита прекрасной, как ангел, Дамой. Жизнь текла спокойно и размеренно, людей в этих местах очень много – большинству приятны и тёплое солнышко, и незаметно подталкивающий нас ветерок... В конце концов Дама вновь затерялась на блестящих балах и праздниках, и не будем гадать о её жизни.

...Рыцарь проснулся утром – внезапно и больно, словно его толкнули. Он, посмеиваясь и досадуя на себя, встал, хотя ещё не светало, и вышел во двор замка. Копошились и ссорились звери – Рыцарь по выработанной привычке каждый день дарил их Даме – шумели деревья в замковом парке, где-то вдали ревел, задрал хобот, мамонт Тревоги. Что-то мешало Рыцарю, какая-то мелочь, ускользавшая от сознания. Он посмотрел на окна Дамы, они, естественно, были темны, и Рыцарь, вздохнув, повернулся, чтоб идти обратно в замок, но тут он понял, что беспокоит его. На шпиле большого донжона замка не сидела Белая Птица. Рыцарь остановился, размышляя о возможных последствиях этого, и, повернувшись к Звезде своего Счастья, увидел, что она клонится к горизонту. Вдруг страшная догадка мелькнула у него в голове, и он бросился к конюшням. Скакуна Дамы не было.

Как гнал коня Рыцарь! Стебли трав под копытами обрывали свои песни, с шипением тянулись вслед умчавшемуся верховому, перепёлки испуганно вспархивали с гнёзд и слепо металась в светлеющем небе, кра-

дущиеся от рек туманы настороженно замирали у самой земли, прислушиваясь к бешеному бегу, мерцали звезды, задыхались ветра. Как гнал коня Рыцарь!.. Однако, видимо, знание сильнее желаний... Дамой был сделан выбор, Рыцарь понял это, и вход в ущелье Недоверия – единственную дорогу в Душу – был отрезан огромной трещиной. Там, за ней, за отрогами гор, за гранитными плитами скал остро поблёскивало в лучах зари оперенье Белой Птицы, и Рыцарь знал, он привык, что Птица парит над Дамой.

Но! Но все разговоры о крыльях любви – обычная ложь бумагомарак, выросших, питаясь жёлтыми листьями глупых книг. Вот крылья Птицы сверкнули ещё раз, ещё и – исчезли. Край солнца за спиной Рыцаря поднимался теперь молчаливо и бессмысленно, ничто не задерживало его лучи, и они уходили за неровный гористый горизонт перед Рыцарем и бесцельно пропадали, гибли в фиолетовом небе.

Что сделал рыцарь? Он спрыгнул с коня и шагнул к раскрывшейся перед ним пропасти. Но там, на маленьком уступе, прижимаясь к стенке разлома, жалобно поскуливала душа из коллекции Дамы. Рыцарь бросил на неё долгий взгляд и, рассмеявшись горько и громко, вскочил в седло. Скоро стук копыт затих и лишь тихий ветерок слабо шуршал каменной пылью, завивая её кольцами и бросая их на стебли трав.

Вечером этого же дня Белая Птица вернулась к Рыцарю. Одна. Без Дамы. Впрочем, Рыцарю это было безразлично, во всяком случае, теперь. Он не прощал двух вещей: мужчинам – глупости, а женщинам – трусости. Не прощал, по крайней мере, пытался себя в этом уверить. Да и крестовые походы не могли откладываться из-за его личных неурядиц, он и так пропустил несколько сезонов, а все же не уходил из Души. Что трещина! При теперешнем обилии свободного времени навести мост не составляло труда. Рыцарь медлил. Кого он ждал в Душе – в этом он не признавался даже самому себе, но ведь это не тайна! Сутками лежал он навзничь на земле, глядя на кружившую в небе Птицу и вспоминая Даму. Любимые голос и смех были слишком живы и слишком отчётливо звучали в нем, чтоб он мог себе позволить заглушить их стуком топора или визгом пилы. К тому же все в Душе было связано с Дамой, как он мог рубить деревья, в тени которых она гуляла? С другой стороны, позволительно ли ему считаться рыцарем, имеет ли на это право человек, позволивший любимой женщине испугаться? Чего – неважно. Бога, дьявола, жизни, смерти – неважно, но раз он был рядом, а она испугалась – какой же он рыцарь?

Так проходили долгие дни, а Рыцарь бездействовал. Погода в Душе между тем портилась. В трещину уходили почти все реки, влага исчезла, и пустыня Одиночества вместе со степями Тоски быстро поглощала все новые и новые земли. И вот – не первый раз, но все уже было когда-то, все – Рыцарь просыпал песок меж пальцев и огляделся вокруг.

Замок разрушился, реки высохли, парк исчез, впрочем, исчезли и

леса, и луга. Рыцарь сидел один посреди безбрежных песков, и Белая Птица кружила в небе над ним, сверкая опереньем в палящих лучах безжалостного светила. Душа умирала, и ничто не могло её спасти. Это так банально!

Часы, и дни, и вся жизнь Рыцаря потекла теперь спокойно и размеренно. Конь его пал, и Рыцарь, проснувшись утром, вставал и, не торопясь, шёл. Шёл просто так, никуда, время от времени поглядывая на кружившую в жарком небе Птицу, удивляясь её непонятной к нему привязанности и ожидая вечера, когда можно, наконец, будет лечь на песок и закрыть глаза. Ночью на его меч оседала роса, утром он выпивал горсть воды и продолжал путь.

Найти границу своей Души, край и предел... Это не приходило ему в голову, но, возможно, принесло бы ему облегчение, и инстинкт вёл его вперёд. В те далёкие тёмные времена даже ангел-хранитель Рыцаря не был вполне образованной личностью и, естественно, не знал слов Гегеля о том, что дух, познавший предел, этого предела не знает. Так что движение Рыцаря лишь расширяло границы его Души, что, в сущности, грозило образованием ещё одной, наряду с Сахарой, великой пустыни. Да, имеет смысл стремиться за горизонт, но только не в том случае, когда твоя душа представляет собой голую пустыню или выжженную степь!

А Рыцарь шёл, и шли дни, и пошли снега, и пришло то утро, когда Белая Птица спустилась к нему, чтобы отогреть его, замерзающего среди холодных песков, лениво переползающих шипучей позёмкой. И с этого рассвета Белая Птица начала приносить ему еду и питье, и по ночам накрывала его своими большими крыльями, и Рыцарь улыбался во сне. Так продолжалось долго.

В один из дней – таких же, как все остальные, сырых и убогих дней – Рыцарь шагал по мёрзлому такыру, опустив голову и скользя взглядом по паутине трещин у себя под ногами. На дальних барханах выл ветер, небо было серо и холодно. Внезапно раздался пронзительный клёкот Белой Птицы. Он поднял голову... Перед ним стояла Дама.

«Как же трещина?» – спросят дотошные радетели и искатели точных деталей. Полно, разве кто-то уже выяснил, каким образом любимая женщина входит в душу? Некоторые вползают, некоторые влетают. Гурманы слова употребляют выражения типа «врываються», но все это второстепенные нюансы – так считаю я, чего вполне достаточно, чтоб принять это за истину.

– Я так долго искала тебя, – пожаловалась Дама. – Здесь все так изменилось, так... – Она попыталась найти нужное слово, но не смогла и улыбнулась.

– А ты не меняешься. Все такая же. – ответил Рыцарь и тоже улыбнулся. – Зачем ты искала меня?

Дама подумала, что раньше Рыцарь ни о чем её не спрашивал, и внимательно посмотрела ему в лицо.

– Разве ты не рад мне?

Да, она не менялась, оставаясь по-прежнему дерзкой и прекрасной.

– Ты видишь, я выбрал не то, что выбрала ты, – Рыцарь смотрел прямо в глаза Даме. Конечно, трудно простить, если тебе дали понять, что не считают тебя рыцарем без страха и упрёка. Есть и другая версия: ни один рыцарь не простит даме, ни одной даме то, что он позволил ей усомниться в нём.

– И ты не рад мне? – повторила Дама.

– Я ждал тебя, – сказал Рыцарь, и он не солгал, ибо все эти долгие нищие дни действительно ждал Даму. Ведь если бы он ушёл, не дождав-шись, она могла бы искать его здесь, в то время как он был бы где-нибудь в другом месте.

– Ждал? – обрадовалась Дама, но Рыцарь коротким жестом руки остановил её:

– Ждал, чтоб сказать, что это все. – Он непонятно улыбался Даме, и голос его был нежен.

– Что – все? – не поняла Дама, чувствуя, как сжалось сердце.

– У меня нет ничего, что я мог бы дать тебе, – он нагнулся и, зачерпнув рукою песок, протянул его Даме. – Только песок.

Выл ветер на дальних барханах, и под ногами шипела позёмка. Долгое мгновение они стояли неподвижно, потом Рыцарь ссыпал песок с ладони.

– Я ухожу. Прощай. – И он повернулся, чтобы идти, но Дама – простим ей такую невоспитанность! – схватила его за руку:

– Постой! – Она не хотела, нет, она не хотела, чтобы Рыцарь ушёл. Что вы, какая дама захочет этого!

– Прости меня, – сказал Рыцарь и осторожно высвободился. – Я пойду.

Он повернулся и зашагал к гребню бархана, и Белая Птица тоже сдвинула свои плавные круги на низком небе.

– Постой! – закричала Дама и горько заплакала. – Я теперь заблужусь! Я умру здесь! – Бедняжка, она все ещё не верила в то, что Рыцарь уходит, и пыталась дать ему веское основание остаться.

Он действительно остановился и медленно повернулся к ней:

– Неправда. Тебя нет в моей Душе, и как только ты захочешь, ты исчезнешь отсюда. – Рыцарь постоял, словно бы о чем-то размышляя, и Дама поняла, что он может действительно уйти, что он уже уходит!

– А Птица? Ты отнял мою Птицу, – всхлипнула она.

Рыцарь улыбнулся и посмотрел в небо. Там плавными кругами летала Белая Птица, и, сквозь невесть откуда взявшиеся разрывы

в тяжёлых тучах, солнце играло на ослепительно чистых крыльях. Рыцарь взял свой меч и снова улыбнулся Даме.

Он был хороший воин – может быть, даже не хуже, чем Ричард Львиное Сердце, и поэтому не промахивался, и Белая Птица с коротким предсмертным криком рухнула к ногам потрясённой Дамы, и белоснежная грудь её была пронзена мечом Рыцаря – знаменитым мечом «Улыбка Смерти».

Рыцарь вынул его из раны, и глаза Птицы подёрнулись голубоватой паволокой.

– Я вернул тебе твою Птицу. – Он повернулся и ушёл бить неверных.

... Так заканчивается легенда о Белой Птице. Грустно, но, сознайтесь – красиво. Это, согласитесь, не «Жили они долго и счастливо, и она нарожала ему кучу детей!». Дама никого не рожала, а просто исчезла, во всяком случае, я ничего об этом не знаю.

Ну, а Рыцарь... Что ж, Рыцарь до сих пор бьёт сарацинов, и одно его имя наводит ужас на неверных.

Острия вражеских мечей и копья мавров – лучших в мире метателей – не могут причинить ему вреда. Он непобедим и неуязвим. Говорят – нет, сам я ничего такого не видел – говорят, что в самые жаркие минуты сражений, когда земля раскисает от пролитой крови и за тучами стрел не видно солнца, с небес опускается огромная Белая Птица и закрывает Рыцаря своими крыльями.

Скептики заволнуются: «Он же убил её собственными руками!» – и так далее и тому подобное. Но надо слушать меня, а не их. Я мудр настолько, что ничтожная крупица моих знаний способна успокоить вечным сном страха перед разверзшейся бездной, и я говорю: «Да. Это правда». Я говорю правду, одну только правду, ничего, кроме правды... Белая Птица была не что иное, как птица Счастья – Феникс. Феникс же бессмертен. Некоторые люди почему-то считают, что Феникс – синий... Пусть так. Значит, это был Феникс-альбинос.



Константин Николаевич Елевтеров родился в Нальчике (1965), работал журналистом и редактором в различных СМИ («Советская молодежь», «Газета Юга», «Северный Кавказ» и др.), сотрудничал с издательством М. и В. Котляровых. Сейчас – редактор РИА «Кабардино-Балкария» (сайт), в журнале «Литературная Кабардино-Балкария» работает в отделе прозы.



До начала 90-х годов выступал с публикациями стихов, затем перешел на прозу. В 1989–1993 годах написал роман «Вынырывающий», который позже вышел в московском издательстве «Терра» и попал в шорт-лист национальной премии «Антибукер» в номинации «Проза года». Роман отличается выверенной архитектурой и прихотливым внутренним развитием сюжета, написан на материале детских воспоминаний.

Отличительной особенностью прозы Елевтерова является напряженный внутренний монолог, а сюжет расположен вокруг нескольких ключевых мыслей и образов, которые, выстраиваясь в иерархию смыслов, тянут повествование за собой. На первый взгляд переусложненный и хаотичный, текст вполне доступен для восприятия благодаря тому, что в музыке называется гармонией, а в танце – чистотой линий. (Об этом одна из любимых пушкинских цитат, вложенная в уста Моцарта и Сальери: «Что ж, хорошо? – Какая глубина, какая смелость и какая стройность!») Читатель вынужден признать, что управление текстом ведется уверенной рукой, по ясно услышанному плану. Возникает стойкое ощущение: автор что-то имеет за душой, что-то знает, тщательно подбирает форму для выражения всего этого, и в итоге нас ждет какой-то существенный результат.

Выдающийся литературовед, профессор КБГУ Наталья Смирнова некогда говорила автору, что погружается во власть подобного рода текстов, как в море, и не может заставить себя выйти на берег, и в то же время не может ухватить и сформулировать причину, по которой это происходит.

В юные годы автор испытал сильное влияние поэзии и личности Александра Блока, воспринимавшего писательство как магию, способную менять реальность. Параллельно этому с детства непрерывно, том за томом, перечитывал Чехова. Эти два писателя, уравновешивая друг друга, так и остались для автора первыми среди равных и наиболее близкими.

В середине 90-х автор изучил работы Карлоса Кастанеды и подготовил собственную редакцию перевода девяти томов этого мастера. К сожалению, планы издать Кастанеду в Нальчике не воплотились в жизнь, но в журнале «ЛКБ» было напечатано большое эссе К. Елевтерова «Крот и Птица», в котором излагается суть учения Кастанеды.

КОВЕР

Глава из романа

Воробьи чирикают за подоконником, где осела ночная гарь. Такой же первый звук, как в старом доме. Всегда чирикают воробьи. Алексей Николаевич, как дитя, сбросил одеяло с поджатых ног, вернулся и слушает первую субботнюю мысль. Что холодно и вообще тусклую розовую спальню он оформит в зеленоватые тона, как на старой квартире. Очень далеко за спиной. Где родился, выливал себе на голову молочную кашу, купался в алюминиевой ванночке с резиновым слоном. Куда теперь встанет и пойдет в последний раз. На полу следует лежать и мерзнуть не худошавой плоти тридцати двух лет, что функционирует под именем Алексей Николаевич, являясь по сути ангелом, которого тошнит от вас всех и выспаться нормально хотя бы раз в жизни не светит, но зеленый на этом месте должен быть ковер из родительского дома. И синего бархата шторы. И нежной зеленью, почти белой, окрасить стены. И будить себя каждое утро правильной музыкой, долго валяясь на спине и ладонями накрест закрыв глаза. Устроить месяц Брамса. Какой там последний раз, если квартира осталась детям. Вымыв коротко стриженую голову, Алексей Николаевич опять ложится, чтобы обсохнуть. На тот же полосатый матрас у стены. Только что смотрел в зеркало, брошенное в ванной старым хозяином, и до того затосковал в чужом зеркале, что начал громко свистеть романс «Белой акации гроздь душистыя», чтобы не делать резких движений. Все правильно. Старая табуретка, которую накрывали как обеденный стол, тарелка молочной каши, и тащил вверх ладошками пухлыми всю тарелку, сидя на маленьком стульчике. И внимательно выливал на себя. Вот эти самые ладошки такое проделывали. Зачем? Низачем. Дождя не будет, свет розовый. Из сквозного подъезда с двумя выходами Алексей Николаевич в потертых джинсах появляется на улице через двадцать минут, а до того пьет кофе, стоит у окна и видит, ухмыльнувшись левым углом рта, как по центру большого прямоугольного двора летает пепел, а рядом ковыряется горбатая старуха. Улицу он хорошо знает и давно поставил метку, что хочет жить здесь, в этом или соседнем доме с высокими потолками, и вот оно счастье. Ключ вот в кармане. Испытать полную грудь счастья надо сейчас же, пока идешь мимо кафе и не свернул еще около гастронома за угол. Год назад Алексей Николаевич готов был хоть нору себе прорыть, лишь бы исчезла куда-нибудь жизнь среди родных и близких. С пластилиновыми затычками в ушах каждую ночь. К утру пластилин переходил в жидкое состояние, и нужен был навык, чтобы выскоблить его из слухового канала. В переулке через квартал жила архитекторша с прямыми рыжими волосами до колен, а чуть ниже знакомый книголюб. Про архитекторшу история отдельная. Впервые же на старую улицу, что разрезала город пополам и уходила началом в главную аллею огромного парка, а парк вообще не кончался до самых зубчатых

гор во все небо, Алексей Николаевич попал романтично. Кажется, в школу еще не ходил. А сосед Георгий, кажется, второй класс на пятерки заканчивал, и дальше были сплошные пятерки до такой степени, что заседает теперь Георгий в местном парламенте с толстыми колоннами и предела не знает. Потянул же Георгий друга своего нового Алексея Николаевича за пять километров от дома после фильма о шпионах, и преследовать надо было живую шпионку с газетами, торчавшими из кожаной почтовой сумки. То есть были времена, когда люди газеты выписывали. И Алексей Николаевич скоро потребует, чтобы в доме «Советский спорт» был. Почтовый ящик висел снаружи на двери, и каждое утро за дверью шуршало, и Алексей Николаевич досадовал, когда стопку газет выдирали из ящика не его жадные и любящие пальцы, а мать или братья. И журналов, журналов! Мальчик радовался, как дикарь, и шорох за дверью был только чудесным, и трепет ко всему, что написано на бумаге и пахнет краской, он сохранит. И будет мрачнеть оттого, что люди не воспринимают книгу как живое существо и терзают ее грубыми пальцами. И до самого вечера шпионку следили, пока на старой зеленой улице газеты в ее сумке не кончились, села в автобус, исчезла. Здесь только холодок к горлу Алексея Николаевича подобрался, когда понял, что темнота его сейчас накроет далеко от дома. Его лицо. Вот такое у него лицо. Надоело много лет отлавливать в воздухе эту фразу, когда стоишь у зеркала. Его. Неизвестно чье. То, что известно, лопается при первом же уровне выслеживания, что настолько уже старая тема, что надо просто вымыть помазок и сполоснуть раковину, а потом свернуть за угол, пройдя мимо гастронома на перекрестке. Пену между лезвиями вычистить мокрым помазком. Дверь по дуге, и вход принадлежит обеим улицам в равной мере. Раз по местному телевизору шла пленка об открытии этого выставочного гастронома, а улица вообще была главной. И больше в городке не было двухэтажных домов, кроме как здесь. И Алексей Николаевич с дрожью почти увидел молодых отца и мать на той пленке, горы снеди, драповые пальто, но вспомнил, что они здесь не жили в начале пятидесятых. Отскочил от зеркала, голову седеющую втянув, и громко засвистел в пустой квартире. Стукнул кулаком о кулак. Стихами немного покричал, чтобы успокоиться, и звуки отлетали от стен и собирались в шар у затылка. Про ангелов, которых наотмашь бьют реманным бичом. Левая сторона горла освещена солнцем из окна, и хорошо видно, как слой геля «Меннен» выпивается кожей и на глазах высыхает. Через полминуты все кончено. И тот в зеркале смотрит розовыми щеками на другого, и на тему, кто этот другой, местоимение правильное уже не придумать. Еще про гастроном надо сказать, что потребовал себе шоколадного зайца с начинкой в конце шестидесятых. Шли из парка, где фотографировался верхом на железном олене. И всегда пил из водопроводного столбика, когда попадал в это место. Любил ритуалы. С аллеи надо было отбежать вправо, и сразу бежал, как только отец и мать входили между гипсовыми львиными барельефами в

парк. Сейчас это вспоминает и вдруг получается, что у него походка как у отца. Мягкая и плечом вперед. Неделю назад снилось, что пришел в этот гастроном за едой, но чувствует скверную тоску и ничего не покупает, потому что нет сил заговорить с продавщицей. Тема очень старая. В самом еще далеком детстве вычленил себя из себя, говоря в третьем лице почти вслух. Это Лесик, это Лесикина мама, это Лесикин карандаш. Мир тоже говорил с ним голосом радиосказочника, носителя строгой истины. Смотри, Лесик. Это должно лежать здесь, а это следует называть вот так. И вот так. Пожалуйста, соглашался и смотрел большими глазами Лесик. Звучит голос и говорит разные слова. Можно в это запретно играть. Это Лесик. Это мама Лесика. Еще строже. Это Лесик. Там закатился под диван карандаш Лесика, который нужно правильно наточить. Но нельзя, потому что грифель всегда ломается. Никогда не было, чтобы не ломался. Голос тоже Лесика, и в эту игру никого еще не надо пускать. Начиналось это, вроде бы, страшно. Кажется, очень холодно было узнать, что ты настолько один. Насколько без шансов. А ведь ты всегда это понимал, и значит был день, когда первый раз прикоснулся теменем. Сказал эти слова, что один. Ничего нет больше. Вот совсем маленький мальчик сидит, едва ходить научился и на мир смотреть вертикально. Голос собственный слушает. Уселся на ковер у большого трюмо, где зеркало во весь рост, вертит в руках теннисный мячик. Пальцы гладят ковер, мяч. Те же пальцы, и у тебя то же имя. Никуда не исчезают ворсистый мяч, трюмо, голос. И тот, кто его слушает. Что тогда, то и теперь. Вообще не меняется это основное условие. Именно тот же самый голос был и будет, хоть у зеркала, хоть у гастронома, хоть у подъезда старой квартиры, куда ногу уже занес на ступеньку и где дочка тринадцатилетняя сидит и ждет, когда за мебелью придешь. День уже поднялся над липовыми ветвями по обе стороны дороги, магазины открываются. И то же чувство очень легко воспроизвести, что все неправильно. Вот он, любимый твой ритм глазного дна, веки сузились. Щит в левом глазу, меч в правом. Что мир, который ты знаешь, на самом деле за такой многослойной стеной, что нет возможности увидеть его и тебя едиными, тебя, который звучит собственным отстраненным голосом, и мир, который всегда по ту сторону голоса. И лицо мальчика в зеркале, которое так же помимо голоса, как все остальное. Кто там? Он. А где я? Разговариваешь. Где? Везде. Как выйти из этого везде? Найди вход. Что будет за входом? Проснешься. Хотя ничего страшного не было, что там страшного. И последний ответ более чем поздний, когда все книги прочитанные вошли в кровь и стали знанием тела. Ответил про вход, совсем даже не напрягаясь. Богатый ответ. Надо будет, и подробности все расскажешь девушке в разговоре о концах и началах. И все не пустая речь будет, не философия, ты действительно это слышишь как тело. И тогда чувствовал без слов. Какой там страх, или чем оно там казалось, тоска, растерянность, как впервые берешь три мандарина с тарелки и думаешь, что жонглировать очень легко. А потом роняешь в недо-

умении, как же так. А по телевизору клоун? Все можно было отследить и задвинуть в ящик, и ты, чародей своего мира, повелитель белых и черных нарисованных в альбомчике персонажей, младший ребенок в семье, просто ежился, скучал, вот это непременно, большую половину всего расширенного приключениями и дальними трассами детства ты простонал от необъяснимой скуки. И от ощущения, что вранье, не так все на самом деле, как тебе показывают. И шел играть или спать. И не нужно было вдавливать слух в бесконечное, клейкое, соснового запаха пространство, что принадлежало голосу и где он правил. И где начинался до всякого звука, лишь небесная дрожь. И соглашаться, что видимый и ощущаемый мир в этой глубине терялся действительно страшно. Просто был жалкой рябью, если не прятать себя от правды в игру. Или сон. Ничего этого не нужно было, потому что защита была новой и только что построенной, и нападали на тебя с игрушечной шпагой. Девочка в голубой майке стоит у окна и открыла раньше, чем Алексей Николаевич позвонил. У нее скверный возраст, который лучше всего переждать, бросая камни в Эгейское море и не оборачиваясь. Или в горную речку. Квартира, когда он заносит ногу на порог, похожа на обворованную. Газеты никакой почтальон не принесет никогда. Оба каменеют и ждут древний грузовик, заказанный вчера возле рынка. Шофер с усами и толстощекий. Иногда дочь говорит, что сама выберет занавески и цвет линолеума, опять замолкает. Глодает, кажется, слезы. Начнет пылить колесами и скрежетать, и мебель еще больше состарится, пока ее довезут. Даешь себе полгода на чувство, что разграблен дом. Бельевой шкаф совсем разохся. Стулья трещат по швам. Маленькая собачка Кэсси погрызла трюмо. А что это значит, когда в пять лет ребенок смотрит на родившую его женщину и слышит все тот же голос. И говорит этот голос, что нет, здесь не мама, я не верю, что это мама? Откуда такое сооружение могло возникнуть? Вот оно зафиксировано, мать у плиты стоит спиной. На ней ситцевый халат. За окном липа. Прибежал за улетевшим мячиком и видишь, как несет ложку сметаны к сковородке, и слышно в голове, вот мама, а почему она мама. Нет, это не мама. При этом тело желает эту черноволосую женщину и все время к ней липнет, нежничает, придумывает слова, гордится своим положением, домом, чистыми вещами, игрушками, пока вдруг в один миг не случается вот что. Никогда не забывал эту ночь, жару, взбитую перину и стон внутри. И ее голос. Спросила, ты меня не обнимаешь. Подумала, что заснул, укрыла. Тоже отвернулась. Все. Однажды Алексей Николаевич не мог заснуть после скверной водки, пошел на рассвете в парк, сел на поваленную ураганом сосну, подышал минут сорок. С птичками поиграл. В белку бросил шишкой. Все бы хорошо, да брюки после того нельзя очистить от смолы. Уже третий десяток лет не очищается этот нарыв, когда ты отвернулся, или нет. Не повернулся ей навстречу, когда она легла. Именно так. Всегда говорила тебе, ложись, грей место, я сейчас приду. И ты жертвенно прыгал в холодную кровать, потому что быстро до-

ждешься и можно будет повернуться и обнять ее шею. Она умывалась теплой водой, разогревала чайник, плескала в намыленное лицо из таза двумя руками. Кто она? Почему ты сделал это? А ведь почти ничего не помню из детства, в тоске думает Алексей Николаевич, озираясь, потом входит в подъезд. Как его вообще не было. Что помню, по ступенькам вот иду. Руку вырываю из ладони отца, сержусь, чтобы не поддерживал, стопу выворачиваю поперек. Бормочу слова. По широким ступенькам в парке. Сходи посмотри теперь, какие они широкие. Где там. Иду легко по ступеньке, бегу дальше и скрываюсь, таюсь самым чудовищным и безумным образом. То есть разговариваю с родителями на младенческом языке, не выговариваю специально буквы, хотя голос внутри слышится правильный, взрослый, холодный. И отлично знает, как нужно произносить любые слова, и выговаривать мальчик давно уже все умеет. И даже помню ход мыслей и то самое движение век, когда сужаются к переносице. Я все про вас знаю. Вы не со мной. Надо скрыться от вас, обмануть. От кого? Зачем? Убийственная же тема. Тогда же имя себе переделал. Или через год. Или через два. Я не Алеша, кричал всем подряд, я же Костя. Как вы не понимаете, что я Костя. И было это серьезнее, чем игра, до слез доходило, когда забывали тебя называть Костей, или не знали, что надо так называть. Соседи, родственники, тетки целующие. Ненависть к их слюнявым поцелуям жить не давала. А чтобы догадаться тебя в лицо не поцеловать с мокрым чмоканием, так этого быть не могло. Кто такой, между прочим, этот Костя. Не тот ли дурак во дворе, который пришел в гости неизвестно к кому и через двадцать минут навсегда исчез. Но до того успел подойти к тебе, ковыряющему в песке дорожку для муравья, и назвал свое имя. А потом вы раз и другой залезли на кривой бетонный столбик для белья и прыгнули вниз, в песок. А потом его позвали из окна по имени, и он повалился на землю и стал орать, не хочу, не пойду. И ты наверняка подумал, дурак, дурак, голос внутри тебя не был добрым. И все же почему ты это сделал тогда? Не было повода, это точно помнишь. Ни обиды, ни игры. Вообще из ниоткуда взялось решение, что не повернусь. Не стану шею обнимать. Кто же знать мог, что такая борьба недетская обвалится на тебя в ту же секунду. Задышал без звука в подушку и суставы, кажется, заныли в коленях. Если бы она повторила свой вопрос, не выдержал бы и заплакал. Укрыла твои ноги, легла. Все. Ты больше никогда не повернешься и не обнимешь ее. Вообще ни единым жестом во всю остальную жизнь не выразишь к ней любви, вообще ни единым. Как? Почему? Совсем не помнишь ощущение, когда тебя берут на руки. Конечно, все продолжало все быть таким же, мир, голос внутри. Высота почти не менялась. Только еще подробнее можно было замирать и голос слушать, и по ту сторону глаз его сдавливать, будто глину, чтобы слова переставлялись или менялись, потому что не надо двигаться. Тихо плывешь. Нет, многое помню. Жарким летом убежал из квартиры во двор, голый и намыленный, дверь была открыта. Тебя купали в алюминиевой ванночке с неровным

дном, которое гремело, когда ты перекатывался боками и спиной, и мать отвернулась, чтобы достать из шкафчика польский шампунь. На этикетке счастливый вполне младенец, пена с головы течет. Одно лицо с твоим. Только ты от воды плакал и захлебывался. Догнала у въезда, где носились машины, схватила на руки, перевернула и фыркнула тебе в голый живот, и ты в отчаянии начал смеяться от щекотки, которую ненавидел. Большие пацаны в зеленом и чистом дворе кричали и показывали пальцами. Хорошо было под диваном или столом. Лежишь, перекатываясь во все стороны. Все не такое. Случайные узоры на ковре взорваны и оборачиваются пчелами и цветами. Потолок уходит в небо и кривится. Насыщается память калейдоскопом картин и перемещений, тело сражается с углами, зубы внимательно сжаты. Ты один, ты вне мира. Ты враг ему. Теперь, избалованный пирожными, где кремом самая чистопородная информация, Алексей Николаевич без особенного участия слушает, как поскрипывает механизм, именуемый судьбой, и не возражает против дорожек, по которым отпечаток этой структуры попадает на ладони и в зрачки, хотя никто никому никаких не дает гарантий. И давно усвоил, что нет никакого пути на острие иглы. Вообще ничего нет, кроме двух метров жизни во все стороны, а стало быть тотального наблюдения и выслеживания родных звуковых волн здесь и сейчас. Остальные цели абсолютно и смертельно глупы. И все равно никуда не деться от унылого желания прорезать себе как-нибудь на ладони другие линии, там выпрямить, здесь дочертить, в углу подрисовать еще одну звездочку. Что-то пошло не так с самого начала. Красный ковер у большого трюмо во весь рост, где младенец сидит и катает ворсистый мячик. Когда вдруг появились из воздуха пчелы над цветами внутри бессмысленных узоров, ты хорошо помнишь, что заплакал от напряжения. Как же так? Никто не понял, что с тобой. Откуда взялось это присутствие замысла на ковре, который был одним, а стал другим? Еще два висят на стенах, зеленый и тоже красный. Вчера скатаны в трубочку и ждут приговора. Они тоже скрываются и прячут замысел? Машина близко. Младенец остался возле трюмо, как прикованный. Его до смерти жаль. А еще на этом ковре мать вставала у зеркала и делала смешную гимнастику перед сном. Руки вперед, в стороны. Изгиб вперед, вбок. Уже вымывшись в пластмассовом тазу и разбавив кипяток водой из крана, и мыльные хлопья стекли с лица. И руки впитывают крем. Раз, два, приседает в пижаме с цветочками, корпусом покрутила, ногами машет. Губами шевелит, как птица. Шеей вертит по сторонам, вверх и вниз. Ложится к тебе, отвернувшись от отличнику. Что всей душой не выносит уроки. И боится спать один. А, вот машина, из кузова выпрыгивают Граф и Герцог. Дочка нахохлилась в углу, не любит с ними здороваться. Ты помнишь это ощущение очень хорошо. Что с ней делать? Можешь ли ты знать, что ей нужно? Недавно приснилось, что сидишь на горшке, прикрывшись дверцей шифоньера, а рядом смотрят телевизор пять человек. Среди них обе дочери, которые косятся в твою сторону и

хихикают. Что еще за конструкция? Кто дитя? На третьем году жизни она запоминала стихи на слух. Подросток в голубой майке у окна. И целыми километрами их повторяла, держа перед собой книжку и не зная еще букв. Множество слов коверкала. То есть ничего, кроме звуков, выстроенных в ритмичную цепь, перед ней не было. Никаких дурных смыслов. Дедушки и бабушки толпились в дверях, звали соседей. Из шока не могли выйти. Вторая твоя черноглазая дочка совсем уж золото, легко отличит исландско-го мифологического богатыря от норвежского. Врачиха поперхнулась, когда полуметровый младенец не вякал и не мычал, а на чистом русском языке потребовал не трогать его холодными руками. Что еще? Все школьные олимпиады расщелкала по предметам, которые друг друга взаимно исключают. Когда она задумывается, втянув голову в плечи, Алексей Николаевич изнывает от жалости. Это его дети абсолютно. Они произошли от него. А что он, откуда? Ты помнишь, конечно, все, но усталой памятью, как набухшее тесто. В голове главным образом угар, будто не спал три года. Скоро чердак будет до дна завален и захламлен, и неразорвавшиеся эмоции удушат тебя не хуже, чем того, например, пролетария Валеру на кривой надоевшей улице, что курит внизу у столба. Пьяного и безумного. Лучших на свете книг он не читал, но правила игры одинаковы. Как, для чего можно было родиться в этом городе и в этой семье? Которая на десять галдящих поколений во все стороны так и не произвела хоть бы один звук, принятый мальчиком без борьбы, без стога, без пластилина в ушах. Во все твое нескончаемое детство не случилось рядом живого существа, которое смотрело бы на мир, как ты, и понимало, какой ты. И чем тебя надо кормить. Никого, кто бы подтвердил, что зрение тебе не изменяет, прав только ты, везде на самом деле абсурд, мир сумасшедших, которые не соображают, что говорят и делают, и не надо тереть глаза в ужасе. Прав только ты. Лак на ногтях матери обдирал. Ел борщ и жареного кролика. Был изящно одет и обожаем, и страдал от всеобщей тупой любви. Требовали есть больше, а то не вырастешь. Всю тарелку до дна. Потом вторую тарелку другой еды. Деревенщина двоюродная и троюродная, соседи и друзья по заводу торчали, как паноптикум, перед глазами, ржали, тыкали в горло козу и тащили в свои дома, где было все, кроме нормальных книг. То есть не было ничего. Лопухи в огороде, которые ты рвал на сотню частей. Злые собаки на цепи. Тарелки расставляют по столу во дворе. Костер для шашлыка разжигают мокрыми от жира и лука ладонями. Рубят старый абрикос на дрова. Сумерки ползут со стороны реки. Не можешь доесть и украдкой бросаешь куски шашлыка овчарке. И никто из седых и толстых, каких еще, ногастых, золотозубых и крикливых, а плюс еще на кордебалете кудахчущие старухи, глухие старики и дебилные дети, вот этой сволочи вообще вынести было нельзя, сопливого ровесника, что тебя разглядывает исподлобья, как обезьяна, никто из всей этой декорации сообразить не может, что тебе плохо, нечем дышать. А почему такой ребенок нервный, избалованный, прячется

от всех, а потому что тоска на части рвет, какую немислимо вам заподозрить в маленьком человеке. И как было им рассказать, если ты сам этого еще не понимал, что не для того книжные полки, чтобы затыкать их хрусталем и портретами лупоглазых предков. Не надо, чтобы в доме не было музыки и вопил один лишь телевизор с первой программой или второй. Не надо чавкать, вонять луком, сверлить твои уши сторонними оборотами и падежами внутри русских фраз. Нельзя, чтобы ребенок отчетливо сознавал и произносил вслух день за днем одно и то же. Что он здесь чужой. Качество лаков теперь возросло, и с какими только ногтями Алексей Николаевич ни пытался повторить это сладкое чувство, будто насыщаешься кровью жертвы. Ничего не содрать. Девушки удивляются и прячут пальцы. И лак не красный. Мать сердилась и стряхивала его с колен, от негодования лез под стол и щипал гостей. Изгонялся во двор и, злобно дыша, обрывал листья и ветки жасмина. Никогда не был добрым. Что еще осталось? Неведомо где вычитал совет, что когда покидаешь дом, надо звать с собой домашних. Думаешь, ладно. Зову. Только втянуть еще раз глазами разбитый и покореженный уют. Детские рисунки валяются на полу. Сдвинута мебель, будто вода ползет в сток. Краска на двери ободрана. Темы распада нагромождаются друг на друга. Каждый предмет трещит от груза распада, каждая тряпка. Во всем содержится все. А тебе никак. Просто мерзнешь и других ощущений, кроме льда, нет. Час назад шел по городу, и вдруг показалось, что ничего не узнает, будто отроду здесь не был. И неизвестно, как сюда попал. И что за улица. Встряхнул головой, и улица оказалась своей, просто не по той стороне шел. Не повернул в привычном месте. Углы и стены, возле которых ты жил всегда, не узнаются в этом ракурсе. Только рекламный плакатик с белозубым мужским анфасом висит вторую сотню лет. Ага, дом напротив, бывший молочный магазин. Где рано утром всегда гремело и не давало спать. Желтый и давно сгнил, надписи не видно и реклама уже не пойми чего, но висит и живет. И провисит до четвертого всадника. Машина сигналист под окнами. Алексей Николаевич переступает порог и вышел, улыбается левым углом рта. Ни к чему не привел давний альковный спор с черноволосой девушкой Жанной о том, что два тома Карлоса после девятого, как был уверен Алексей Николаевич, сочинены неведомым шимпанзе, который скверно подделал интерьер, но аромат учения воспроизвести ни в какую не смог. Сам же Карлос, конечно, бросил тратить слова и ушел. Девушка Жанна монотонно говорила, что никакой разницы между девятым и десятым томом не видит, чем привела Алексея Николаевича в ярость, и все это они вложили в такую любовь, что у обоих к утру заклинило мышцы бедер. И с хохотом показывали друг на друга пальцами, пытаясь сползти с кровати и сделать шаг. Обоим, надо полагать, пришел в голову образ младенца, который учится ходить, выпрямляется, падает, встает. Ничего этого не помнишь, хотя что, по большому счету, изменилось? Борется вертикальное с горизонтальным, обезьяньим, и будет бороться, пока не посинеет. За

равновесие. Вдоль солнечных лучей твой позвоночник или поперек, таков был и остается вопрос. Ножки, ножки, поет голос матери. Пошли по дорожке. И хнычешь, когда тебя обувают, тычут и поворачивают ботинок, чтобы вести в парк. И гипсовые львы на входе дают знак, что можно отпустить руку и от всех бежать, путаясь в трещинах на асфальте. Увидел ее в букинистическом магазине, красный шарф на черном, глазастую, маленькую и роскошную. Рылась в книгах по оккультизму, надувала губки, а назавтра ты вдруг подумал о ней за секунду до того, как обернуться и увидеть ее лицом к лицу. Возле книжного лотка на улице, куда ты выносил стопку свежего, только что привезенного тобой чудесного Карлоса. Здесь же четырехколесный велосипед, и все понятно, и вдруг брат свинчивает боковые колеса. Помнишь? Это неправильно, обида и тоска затопили двор. Пластмассовые колеса выброшены в мусор и надо кататься на двух резиновых. Красные и толстые. Ты отбиваешься и дрыгаешься, но сам собой вступает миг равновесия, и ужас растворен в торжестве. И кричишь, чтобы отпустили. И равен птице, но не умеешь еще поворачивать и въехал в дверь гаража. А, вот еще метка. Разбивал голову в кровь два дня подряд. Сначала на кучу гравия лбом упал, назавтра стукнулся затылком о железный штырь в столбе. В школу не ходил еще. Больше подобное не повторялось никогда и нигде, даже, прости господи, в стройбате. Как поместили оба полюса, чтобы много уже лет хранить тебя от любой боли. Ничего похожего на самые малые увечья тело до сих пор не знает. Хоть бы зуб заболел, как у нормальных людей. Вообще ничего. Уже грузят мебель, коробки, да сам Алексей Николаевич все это и грузит в машину полусонную, и через пять уже минут въезжает в кузове, сидя на собственном стуле, как в фильме старом, во двор, где еще летает бумажный пепел и старуха никуда не ушла, сидит. Помогают Граф и его школьные приятели Барон и Герцог. У Герцога грация деревенского тореадора, однако белобрыс. В каждое движение он вкладывает спортивную злость. По странной причине не выносит Льва Толстого. Ничего больше вспомнить не может, только сжимает виски локтями, вдруг ощутив, сколько раз, сотни ночей подряд, этот миг повторялся. Лечь на то же холодное место, съежиться и в нелепой борьбе отвернуться от уставшей за день матери, которая не с тобой. Прячет тебя от всего, как стена, но не слышит, как зубы твои сдвинуты, не знает, что ты сущий теперь маленький поганый дикобраз. Уйти на диван или на пол нельзя, потому что одному среди теней и шорохов еще страшнее. В полусне метаться от жары и сбрасывать байковое одеяло, и спину ломит от проклятой перины наутро, когда много лет подряд, в одно и то же время уходит на работу и кашляет, чудовищно сморкается на весь дом в туалете отец. Тишины, кстати, вообще никогда и нигде не будет. И быть не может. С тобой делают что хотят, возят куда хотят. Ты точно знаешь, что тебе плохо от суеты. Тебе не нужно в армянскую деревню к бабке с дедом. Только покой и нормальные книги. Недавно Алексей Николаевич увидел эту деревню на старых фотографиях,

горную речку, баранов в загоне, и чуть песенку про сурка не запел от желания сейчас же бежать за билетом в Ереван и дальше полдня машиной через нищие села, камни, пыль. Чтобы машина, как двадцать или сто раз в детстве, перевалила через железный мост влево от магазина и вползла по отлогой дороге вверх к двухэтажному дому, откуда по утрам бегали вниз к холодной речке отец, дед, прадед, и просто вдохнуть это место. Ничего не делать, ни с кем не говорить. Увидеть горы, дом, речку, втянуть это все глазами и сделать глубокий вдох, и сразу прочь отсюда бежать обратно в аэропорт. Держась за борт, спрыгивает. Нужно сделать два рейса. Шофера вперед пускает с коробкой. На днях в разговоре обронил, что своей родословной не интересовался, но случайно знает, что прадеда расстреляли в тридцать седьмом, и был продвинутым, не последнего ранга священником, и присутствующие возле Алексея Николаевича дамы тут же ахнули, сообщив, что все не случайно и здесь прямая генетика. Не имелось в виду, что Алексей Николаевич сильно религиозно озабочен. Кто бы попробовал так ему нахамить. Имелось в виду другое. Как же ты страдал и злился от бесконечных Сухуми, Кисловодска, Тбилиси, Ленинграда, Ессентуков, Одессы, Москвы. Не выносил всех буквально взрослых, возникающих перед тобой с мокрыми губами и бараньей радостью. И умилением от того, что ребенок сразу бежит к полке, где лежат пять или семь рваных книг про войну или юных чапаевцев, и больше ничего не желает знать. Какие прогулки, какое море. В гробу он видал ваше холодное, оно всегда было холодным, летнее море. Ваши дрянные тела. Сам не желал раздеваться и любить воду ни при каких уговорах. Точно можешь сказать, что первый раз выдержал такую борьбу четырех лет от роду. Ереванский двоюродный брат, теперь ночной киоскер в городе Александрополис, заедая дичью, пирогами и чесночным соусом безобразную подслащенную греческую водку, вспоминал, как ходил с тобой маленьким на речку именно в том самом году, и ты отказался не только в воду лезть, но просто снять штаны, и прекрасно помнишь, с какой злостью тогда стоял на берегу и пинал камни, пока он лежал на пузе против течения. Ты даже переспросил, в каком именно году. Действительно, четыре. Вы сидели за столиком возле киоска, и носатого ереванца, который все детство тебя смешил акцентом и таскал на загровке, отвлекали гречанки и греки с горячими ноздрями, которым хотелось именно теперь, в третьем часу ночи, на полной гуляющего народа центральной улице купить сигареты или жвачку. Ты отворачивался, трогал вспученный от обжорства живот и смотрел на витрину шикарного магазина ковров. Речка текла в трех минутах от дома, куда Алексей Николаевич мебель теперь перевозит. Только от гастронома влево, а не вправо, куда он с утра пошел. Прямо это дорога в парк. Ковры, ковры волнами, пируют боги, жертвуются быки, запах мирры, ладана, цветного бреда сквозь двойную витрину. С надписями на смешном детском языке. В теплую ноябрьскую ночь. Ты давно знаешь, что делать, но до этой минуты не знал, где именно. Дубль второй. Ты всему

обучался быстро, если это имело смысл. Белые рваные нити на голубом ковре в иллюминаторе. Ни одно существо не видит, где ты. Вышел из аэропорта на толстой подошве без каблуков, выкинул легким движением паспорт. Потом без имени катишься под горку в автобусе, справа берег. Оно Эгейское. Ладонь ко рту приставить и громко его позвать. Эгейское! И вернуться вон в тот, зеленый, когда придет нужда упрятать себя в тепло и покой. И магазин пусть закроют на переучет дней на пять. В Греции непременно бывают переучеты. Должно хватить. Ты точно знал, что тебе не нужно в мерзкую школу. Как ангел всех козленочков не дает пить из лужи. Как потом открытым текстом уже знал, лет в тринадцать, что никогда по твоей доброй воле не будет такого положения фигур, чтобы по ту сторону кафедры перед тобой стоял некто, будь он чего угодно профессор, и вдвух тебе в уши дерьмо, которое ни на один вменяемый вопрос о жизни не отвечает. Алексея Николаевича, кстати говоря, давно не спрашивали на тему, какое же у него образование. Ужасно любит этот пункт анкеты, но давно не приходилось отвечать. Приятное образование. Солнечное и лунное. За три дня до школы случилась, кажется, первая искренняя истерика в твоей жизни, поскольку до и после истерики были расчетливыми. Как глубоко ни участвовал в содроганиях своего детского тела и ни захлебывался соплями, сам же это отслеживал и мог прекратить либо продолжить. Здесь же было черное горе, когда понял, что тебя не станут слушать и все же поволокут в школу, и провалился в это горе весь, на долгое время. Два дня рыдал. Это было слишком зримым насилием и слишком потусторонним. Угроза не фиксировалась внутри квартиры, шла извне. И произошло все одним ударом. Ты уже знал, что взрослые не способны говорить нормальным языком о действительно важных предметах. Они коверкают ударения, чтобы тебя разозлить еще больше, не отвечают на вопросы, таращат глаза. Жрут, устают на тупой работе. Все главное и живое накапливается в тебе случайно, на слух, на ощупь. Если прячешься от взрослых куда угодно, в любую тихую и темную дыру, и слушаешь, как в голове шумят и разбиваются слова о речные камешки, чтобы выпрыгнула через двадцать лет или тридцать, или сколько там, как блоха, капля в шесть слов, которая резвилась, играла и брызгалась с другими на глубине, какой нет на свете, и нечем теперь дышать оттого, что поймал ее спустя тридцать лет луч, и случайная ритмичная чепуха освещена на мгновение, узнана, разрывается и пропала навсегда. И вот это есть твое вещество, которое надо содержать в чистоте. И ничего другого не делать. Конечно, тебе говорили про школу, но, как всегда, пропустил угрозу мимо ушей, заиграл сказками в доме и мячом во дворе, и школа выскочила перед тобой как факт. Ничего с той минуты, между прочим, не будет происходить в мире, кроме разрушения. Насилия и разрушения в обе стороны. И борьбы за дом, которого никогда не было. И тишину, которой вообще быть не может. Вот метка еще одна. Из ниоткуда возникает тема про смерть, на том же месте. С той же матерью у окна, вынимающей

из кастрюли мясо. Ситцевый халат. Причем окно открыто и улица совсем не безлюдна. И тротуар прямо за окном, без единого сантиметра между жильем и улицей. То есть днем и ночью ты выставлен напоказ, как животное в клетке. Людная улица за тонкой стеной и низкие окна без решеток. Ничего подобного ты больше не видел. В каких бы поганных бараках твои знакомые ни копошились, их жилье все же не было частью улицы. Это очень неординарный ход создателя твоей биографии, и ты днями и ночами задавался вопросом по этому поводу. Почему такой сволочной всесторонней удушливой теснотой поздравили именно тебя на три десятка лет, тебя, которому никогда не были нужны люди. Только покой и книги. Всегда, каждый день теснота и бездомность не только внутри квартиры давит, но еще извне. Зачем? Вроде бы в конце концов вымотаешь все нервы себе и близким, но ответ найдешь. Пока же прохожие спокойно заглядывают в окно, здороваются. Корчат рожи. По ночам ходят и орут пьяные, стуча в ваше зашторенное стекло. Как же ты будешь отдыхать потом в любых, самых занюханых квартирах выше первого этажа. Как сладко будет не сжиматься от любого шороха за подоконником. И как долго грезил об этом втором этаже, куда шофер запикивает теперь в дверной проем коробку с книгами. Она не ответила на вопрос нормально. Лишь подтвердила твои слова, помешивая ложкой в кастрюле. Да, умрешь и тебя никогда не будет. Повернулась, ложку не бросила. Сильно растерялась. Выражение губ было скверным, будто ее сзади ущипнули. Всегда страшно боялась врачей, уколов и всего прочего в этом роде, и заражала тем же самым тебя. Могла терпеть любую боль и пачками лопать пилюли, что соседка дала, только бы не видеть белый халат перед собой. Лицо вытянулось от растерянности и совсем птичьим стало. Хотя женщиной была, наверное, броской. Или нет. Как можно собственную мать оценить с этой дурацкой точки. Вроде бы, на ее узкие платья оборачивались. Конечно, одевалась дорого и красилась самым лучшим, то есть польским и немецким. Страшно кричала по ночам с твоих лет девяти, иногда по несколько раз за ночь. Много лет подряд. Вой, переползающий в крик, если не растолкать. Сначала беззвучно плакал от ужаса. Потом привык. Отслеживал по ее сдавленному дыханию, что сейчас начнет подвывать. Стучал в стенку из другой комнаты или громко свистел. Никогда не спрашивал, что ей снится. И вполне безумную мысль, что это с тобой связано, с твоей борьбой, не держал освещенной, хотя иногда ловил. Сроки совпадают. И вообще был мальчиком с очень крепкой психикой, раз это пережил без следа. Что оно, черт побери, значит? Вы продолжаете варить борщ, ходить, стучать подошвами за окном, кашлять, выдувать соплю из носа. Вас устраивает такой ответ, который вообще не ответ? Как не будет, в каком виде не будет? Что будет? Кто я? Как вы можете шевелиться, жрать, спать, пока ответ не продлен хоть в какую-нибудь сторону дальше этого птичьего идиотизма? Примерно в те самые годы, когда тело твое по капле принимало главное знание на свете, и чаша переполнялась. Знание,

что мир вообще не таков, каким выглядит. Примерно в эти годы перед окном вдруг возникла глупая черная тряпка, кажется, колготки. Неведомо как прицепилась на ветку липы метрах в четырех над землей, висит себе и висит. Год висит, второй. Утром открываешь шторы, висит. Вечером выглядываешь, не снесло ли ветром. Нет, висит. Особенно тоскливо зимой, когда без листьев. Одни ветки и эта чертова опухоль. День за днем мечтал выйти, наконец, и сбить ее, но в светлое время не хотелось выглядеть дураком, а когда темнело, задегивал шторы и про тряпку за окном не думал. В конце концов случился ураган, снесший половину деревьев в городе, но тряпку под самым носом ураган не сдул. Ты понял, что это миг просветления, и вышел днем с экзотической бамбуковой шваброй. Увидев первый раз эту швабру, Та, Которая Всегда Уезжает, хохотала от счастья. Потом побежала голенькая в дверной проем напротив зеркала, подбоченилась и вскочила на бамбук верхом. Встал на цыпочки и, не глядя на прохожих, дотянулся до тряпки, но она приросла, что ли, или опуталась вокруг ветки. Некоторое время прыгал и произносил разные слова, но легче было на этой тряпке повеситься, чем ее сорвать. Вдруг исчезла сама собой после того, как ты вернулся из Греции. Спрашивать у соседей, куда тряпка делась, глупо. Еще выяснится, что никто никакой тряпки не видел, что она для тебя одного висела перед окном. Мир не таков, каким выглядит. Сознание не равно восприятию. Варианты мира это кнопки на пульте. Гуляешь с кнопки на кнопку. Вот тебе и смерть. Какая смерть? Нет смерти. Другая кнопка. Где тряпка? Нет больше тряпки. В тот же день ты до четырех утра играл в преферанс, напился и много выиграл, и возвращался по свежему после дождя летнему проспекту под горку. И завтра на дне рождения Графа выпьешь еще. И, проделав на любимой дороге все ритуалы, выслушав странную птицу и свернув вправо от книжного магазина, вдруг устал и помрачнел уже возле дома, будто тебе шепнул слова укоризны только что вырванный зуб. Тряпки настолько не хватало, что ты, подойдя уже к двери, засомневался, пустят ли тебя внутрь. Туда ли попал? Твоя ли вообще дверь? Можно ли открывать ее этим ключом, не погонят ли в шею? Твой ли выключатель, можно ли зажечь газ, достать чай из шкафа? Точно ли здесь то место, где ты можешь включать телевизор, спать, быть никем не замеченным до утра? Огражденным. У Жанны есть ребенок Даша, потому что бездетных женщин в природе уже нет. Маленький ангел, когда по кровати не скачет с воплями. Алексею Николаевичу случается по нужде работать в газетах, и с некоторых пор, не желая вставлять свое имя где попало, он берет псевдоним Дарья Комарова, всем объясняя, что есть такая девочка шести лет. Когда заходит спор, кто будет сегодня читать сказку, мать отгоняется от кровати, потому что Алексей Николаевич читает эффектно и с точными интонациями. В чай бросает строго шесть ложек сахара. Утром Жанна подметала в комнате и раза два протатила веник под диваном, а через минуту оттуда вылез ребенок с окровавленной щекой. То есть ей щеку веником ободрали,

а ребенок ни звука не издал, потому что боролся за свою игру. Я спряталась, ищите меня. Алексей Николаевич к Дарье Комаровой тогда прижался, словно первый раз себя из зеркала вынул. Надо вслух поговорить, лучше стихами, думаешь ты с жаром, сидя уже на диване после всего. Или не стихами, к черту стихи. Отвлечься от азарта, с которым мебель затаскивалась и по нужным углам расставлялась, и сказать, что, например, здравствуй, дом. Схватки кончились за тишину и уют. Все кончилось, все позади. Здесь ты будешь стариться и благородно умирать. На этом диване ты будешь слушать Малера, потому что давно знаешь, что больше ничего нет. Нет других целей, других тем. Других шансов. Кроме как лежать на диване и слушать Малера. Все остальные формы, которые принимает жизнь, восходят к этому пику. Что будешь делать, царь, когда завоюешь весь мир. Приду к тебе на берег реки и лягу рядом. А что до обновления интерьера, то непременно следует завести ручного дятла, обучив его время от времени подлетать и долбить хозяина в район третьего глаза. Чтобы не слишком верил в проявленную реальность. Ложись сейчас. Надо завоевать мир. Тогда отойди, дурак, не загораживай солнце. Что ты хочешь теперь, книгопродавец позорный, разговаривает сам с собой Алексей Николаевич. Вполне ли ты понимаешь, что надо сразу ложиться Малера слушать без единой промежуточной цели? Ничего абсолютно живого, в такой мере живого, как это, больше нет. А как же любовь? А это и есть лежать на диване и слушать Малера. У Дашки сейчас зубы выпадают. Помнишь, в какую панику тебя это ввергло, когда первый зуб выпал, продолжает расковыривать Алексей Николаевич память. Хочешь детство вернуть? Не дай бог. Расшатанный зуб вынимается из гнезда и лежит в ладони, как дохлое насекомое. С капелькой крови у корня. Что происходит, думаешь ты в ужасе. Из таких трупики оно все сделано. На что годится зуб, когда он в ладони. Только выбросить. Или зарыть на память в палисаднике, как Буратино. Вот еще метка. Очень напряженно среагировал на песню Бернеса по тому поводу, с чего бы могла начинаться родина, то есть на саму постановку вопроса. Точнее, на сам факт вопроса. Потому что сомнений кругом вообще никаких не было, только повествовательная и восклицательная интонации. Как прикажете верить такому миру? Зачем он притворяется идиотом слонявым с красным флажком? Что замышляют против тебя, приставив этих родителей, братьев, снох, включив эту белозубую первомайскую мерзость по телевизору? Да хоть бы и сказку рассказывая Кестнера, твою любимую, про мальчика из спичечной коробки. Который стал прославленным цирковым артистом, и королевская семья прислала ему в подарок кукольный дом. На новой кроватке с перинами он не мог спать и перетащил в шикарную спальню старую спичечную коробку. Ведь на самом деле мир не такой, он сложный и жуткий. Он отслеживает тебя. Это, кстати, единственная детская книга, которую ты спрятал от дочерей, до такой степени она насыщена твоей радостью. Никто к ней не прикасался, кроме твоих детских пальцев. А доче-

ри не пострадали ничуть, поскольку выросли на лучших книгах, которые ты часами выбирал на московских складах и в магазинах. Все пролистывал от корки до корки, прежде чем купить одну из двадцати. Стал внимательно слушать, что же там дальше в песне, тем более интонация была суровая. Услышал свинство, больше ничего. Еще одна песенка начиналась вообще конкретно. Знаешь ли ты, Пьеха гундосила, помнишь ли ты, что на свете самое главное. Так ребенок вообще подпрыгнул, неужели! Сейчас расскажут, что есть жизнь и почему она устроена так. Сейчас посреди идиотизма всеобщего, когда о главном вообще не способны речь вести, только чушь несут или сюсюкают, возникнет зерно. И как же обиделся, когда после этих слов Пьеха пошла выпевать тот же паскудный бред, что всегда. Про осенние, что ли, веточки. Точно помнишь, где это было. В машине вашего толстого зятя, и шел дождь, и скрежетали вправо и влево по лобовому стеклу «Москвича» неуклюжие, плохо пригнанные дворники. Алексей Николаевич разводит руками и хочет выйти на улицу, но вдруг прячет в карман записную книжку с лиловыми и синими балеринами Дега на переплете. Вслух ругает себя за этот жест, бегая из угла в угол нового, дикого еще жилища, которое топорщится и не узнает в нем хозяина. Подчинился и выходит, чувствуя локтем переплет в кармане. Года два не мог найти записную книжку, которая подала бы ему знак. Нашел за три дня до Греции, никуда в тот день выходить не желая, потому что болела поясница и шел дождь. Так же подчинился, ругаясь вслух. В маленьком магазине сувениров возле фотостудии, где до сих пор упрямо снимаешься для всех документов, хотя ни разу в жизни лицо не получилось четким. Такая далеко идущая игра. Никогда не получается, значит рано или поздно вдруг да получится. Не строй дом, говорил Будда, не строй дом, говорил Будда. Брошенная на пол мебель громоздится и жметесь от неуютя, как в кривом зеркале. Архитекторша с прямыми рыжими волосами до колен хочет напоить тебя настоем Melissa. Ты не желаешь Melissa. Вспрыгивает на табуретку и находит в шкафу сушеные ягоды, от которых громко стучит сердце. Говорит, лимонник. Ты съедаешь, потом рассказываешь утренний сон про то, как тело раздвоилось. Верхняя половина весело болтает с некоторой барышней, тогда как нижняя медленно втягивается в бездонный, вязкий и вонючий провал, и неопределимый ужас в этой нижней половине совершенно не влияет на то, что верхняя продолжает болтать и веселиться. Мысль, которую он нашарит у входа в парк, где померкшие львиные головы, фотографы, велосипедисты, мрачные старухи и крикливые дети, получится вялой. Для предисловия к трехтомнику Карлоса не годится. Он запишет ее начало, сразу перечеркнет и никогда больше о ней не вспомнит.



В номере:

Нам – тридцать. <i>Редакционная статья</i>	2
Первый главный. <i>Очерк</i>	8
М. Эльберд. Страшен путь на Ошхамахо. <i>Глава из романа</i>	13
Мадина Хакуашева. Путь караванщика. <i>Очерк</i>	40
Хасан Тхазеплов. <i>Стихи</i>	43
Певец Балкарии. <i>Очерк</i>	58
Магомет Кучинаев. Большая Балкария. <i>Глава из романа</i>	60
Джамбулат Кошубаев. Обратный переход. <i>Очерк</i>	84
Георгий Яропольский. <i>Стихи</i>	98
Асхат Мечиев. Конкурс имени Салиха Гуртуева... <i>Интервью</i>	119
Алим Балкаров. Ян Стен. Альбом. <i>Рассказы</i>	122
Тахир Толгуров. Гошка. Легенда о Белой Птице. <i>Рассказы</i>	153
Константин Елевтеров. Ковер. <i>Глава из романа</i>	175

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов

В номере использованы фотографии А. Елканова

ЛИТЕРАТУРНАЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

*Литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

Свидетельство о регистрации средства массовой информации.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Кабардино-Балкарской Республике
ПИ № ТУ 07-00126 от 11.01.2018 г.
Подписной индекс П5892

Компьютерная верстка *Ш. С. Ахматова*
Дизайн первой страницы обложки *Юрия Сабанчиева*

Сдано в набор 30.10.2021. Подписано к печати 29.11.2021.
Выход в свет 29.12.2021. Формат 60×90 $\frac{1}{16}$. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman. Печать офсетная. Усл. п. л. 12,0.
Тираж 640 экз. Заказ № 2722. Стоимость одного номера по подписке
через ФГУП «Почта России» – 35,03 руб., за 6 мес. – 105,09 руб.,
за год – 210,18 руб.

В розницу – цена свободная.

Адрес редакции, издателя: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 5.
Тел.: главный редактор – 40-03-24,
редакторы, бухгалтерия – 42-75-22,
сайт: pressa.smikbr.ru,
e-mail: literaturnayakb@mail.ru

Отпечатано в ООО «Издательство «Южный регион»,
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а

Материалы для журнала принимаются в распечатанном виде с электронной версией.

Редакция не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов публицистических статей может не совпадать с точкой зрения редколлегии. Авторы сами несут ответственность за достоверность своих материалов. Редакция не принимает рукописи ранее опубликованных материалов на русском языке. При перепечатке материалов ссылка на «Литературную Кабардино-Балкарию» обязательна. Статьи принимаются в объеме, не превышающем 5-ти стандартных страниц (А4), с приложением личных данных (ИНН, страховое пенсионное свидетельство, паспортные данные, номер контактного телефона).

Продолжается подписка на журнал «Литературная Кабардино-Балкария» —



единственное литературно-художественное и общественно-политическое издание на русском языке, охватывающее и поддерживающее единое культурное пространство, создаваемое усилиями деятелей искусства и культуры нашей рес-публики.

На страницах «Литературной Кабардино-Балкарии» читатель всегда найдет современную прозу и поэтические подборки как известных мастеров литературы, так и тех, кому еще только предстоит обрести популярность.

Журнал стремится освещать широкий круг вопросов общественно-политической жизни, проблемы и достижения во всех отраслях народного хозяйства КБР.

В журнале печатаются как оригинальные произведения, так и переводные тексты авторов нашей республики, а также литераторов и журналистов братских республик Северного Кавказа, ближнего и дальнего зарубежья, ранее не издававшиеся на русском языке.

Аудиторию «Литературной Кабардино-Балкарии» составляют все категории читателей, объединенных любовью к литературе и неравнодушных к событиям общественной жизни.

Журнал выходит шесть раз в год, каждые два месяца.
Стоимость одного номера по подписке в отделениях ФГУП
«Почта России» — 35,03 руб., за 6 месяцев — 105,09 руб.,
за год — 210,18 руб.

В розницу — цена свободная.

Адрес редакции: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 5, «Дом печати».

Телефоны редакции: 40-03-24; 42-75-22.

Сайт: pressa.smikbr.ru,
e-mail: literaturnayakb@mail.ru.

Подписной индекс П5892

2022

С Новым годом,
наши дорогие
зиматели!